

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Евгений
Войскунский



БАЛТИЙСКАЯ
САГА

« А З Б У К А »



Русская литература. Большие книги

Евгений Войскунский

Балтийская сага

«Азбука»

2010–2017

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Войскунский Е. Л.

Балтийская сага / Е. Л. Войскунский — «Азбука», 2010–2017 — (Русская литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-32858-7

Первые книги Евгения Войскунского были написаны о войне, о временах его боевой юности, пришедшейся на Великую Отечественную. Это логично: кому, как не ему, капитану 3-го ранга, кавалеру двух орденов Красной Звезды, участнику обороны Ханко и Ленинграда, писать о героях военных будней, приближавших нашу победу. Однако известность писателю принес роман «Экипаж „Меконга“», написанный в соавторстве с двоюродным братом Исаем Лукодьяновым, имевший подзаголовок: «Книга о новейших фантастических открытиях и старинных происшествиях, о тайнах Вещества и многих приключениях на суше и на море». Опубликованная в начале 1960-х, книга стала заметной вехой в отечественной фантастике и наряду с произведениями Ивана Ефремова, братьев Стругацких, Кира Булычева и других именитых фантастов имела значительный успех у читателей. Далее были новые сочинения в популярном жанре. Но время меняет ориентиры. Ушел из жизни соавтор. Сама эпоха пошла на слом. Жесткий реализм современности оттеснил фантастику в сторону. В новых своих романах Войскунский рассказывает уже не о «тайнах Вещества и многих приключениях на суше и на море», он возвращается к старой, военной теме, к «приключениям» (если их так можно назвать) реальным, пережитым им лично, повлиявшим на жизнь и судьбу писателя. «Кронштадт», «Мир тесен», «Румянцевский сквер» – эти и другие книги Войскунского посвящены мужеству и героизму воинов-балтийцев, подвигу ленинградцев, выстоявших в блокаду, автор делает в них упор на такие основные человеческие понятия, как долг, родина, ответственность человека перед настоящим и будущим. Но вершиной военной (и не только военной) прозы писателя стал эпический роман «Балтийская сага» – увы, последняя книга в его творческой биографии, – книга-панорама, книга – осмысление событий русской истории новейшего времени через жизнь нескольких поколений ленинградцев, связавших свою жизнь с флотом.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-32858-7

© Войскунский Е. Л., 2010–2017

© Азбука, 2010–2017

Содержание

Глава первая	9
Глава вторая	25
Глава третья	44
Конец ознакомительного фрагмента.	57

Евгений Львович Войскунский

Балтийская сага

© Оформление.

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

* * *

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА



Евгений Войскунский

БАЛТИЙСКАЯ
САГА



Санкт-Петербург

*...И даже тем, кто все хотел бы сгладить
в зеркальной, робкой памяти людей,
не дам забыть, как падал ленинградец
на желтый снег пустынных площадей.*

О. Берггольц

*...великие перевороты не делаются разнуздыванием дурных
страстей.*

А. Герцен

Глава первая

От судеб защиты нет

Вадиму было четырнадцать, когда его отец Лев Плещеев ушел из семьи. С ума, что ли, сошли? Так хорошо жили, большой семьей, и еще был жив дед, инженер-кораблестроитель Иван Теодорович Регель, мамин папа, человек с квадратной рыже-седой бородой и голубыми глазами.

К деду в выходные дни приходили играть в преферанс его друзья, тоже корабелы. Мама, Вера Ивановна, звала пить чай. Корабелы с шуточками рассаживались за старинным столом с фигурными ножками. Один из гостей, Котов, над которым посмеивались за то, что он носил суконные боты «прощай молодость», рассказывал о своем детстве в деревне.

– Папаша у меня, – говорил он глуховатым голосом, – был, звольте-деть, свирепый мужик с пудовыми кулаками. Чуть что не по нем – такой даст подзатыльник, что вылетишь через сени во двор и в плетень врежешься. Да-а, – рассказывал Котов, мелкими глотками отпивая чай, – руки у папаши тяжелые, нрав бешеный, а вот, звольте-деть, сподобился мне образование дать. Сам отвез в Боровичи, уездный город, там старшая дочь, моя сестра, значит, жила, замужем за пожарным. Да-а. Ну, реальное училище и так далее – до кораблестроительного факультета питерского политеха.

– Борис Кузьмич, – спрашивал Лев Плещеев, отец Вадима, – а верно, что вы дружили с Евгением Замятиным?

– Ну уж дружил! – отвечал Котов. – Взирал с почтением. Он, звольте-деть, был старше на пять лет.

Вступал в разговор, посмеиваясь, дед Иван Теодорович:

– Замятин окончил политех на два года раньше меня и преподавал по кафедре корабельной архитектуры. Уже война шла, я на Балтийском заводе работал, и однажды заявился к нам Замятин по какому-то делу. Поздоровались мы, и я спрашиваю: «Евгений Иванович, у вас в рассказе „Алатырь“ почтмейстер-князь рассуждает, что эсперанто объединит весь мир и настанет всеобщая любовь. Он, этот князь, вами придуман или с натуры взят?» Замятин, хе-хе, посмотрел на меня иронически и говорит: «Голубчик, я забыл логарифмическую линейку, будьте любезны, дайте мне свою на полчаса».

И заговорили они, корабелы, о Замятине горячо. Одни осуждали за то, что покинул Россию, другие выражали понимание: мол, писателю нужна свобода... «полноте, сударь, никто ему не мешал...» – «да как же не мешали?» – После „Уездного“ ничего крупного не написал...» – «Да-а, „Уездное“... звольте-деть, его Анфим Барыба в-точь был как у нас в уезде урядник... такая же страшная фигура-с...» – «Ну да, еще бы – воскресшая русская каменная баба... беспощадный каратель...»

– Борис Кузьмич, – остро глядел сквозь очки на Котова отец Вадима, – я бы хотел написать очерк о вас для «Ленправды».

– Чего вдруг? – медленно удивился Котов.

– Вы, Борис Кузьмич, прямо-таки воплощение человека из низов, которого советская власть...

– Полноте, сударь. Я, конечно, от ворон отстал, но к павам не пристал-с.

– Да какие павы? Их нет давно.

– Прежних нет, а новые появились. Не надо никаких очерков.

Когда корабелы, закончив преферансную пульку, разошлись по домам, Вадим слышал, как дед сказал папе:

– Лева, не приставай к Котову. Его проект засекречен, цензура не пропустит статью о нем.

(Лишь годы спустя Вадим узнал, что дядя Котов, человек с незаметным «простонародным» лицом, небрежно одетый, в старомодных суконных ботах, был одним из конструкторов первых советских сторожевиков. Целый дивизион этих кораблей скатился со стапелей на балтийскую воду – «Ураган», «Снег», «Буря», «Тайфун» и другие, тоже с неприятными названиями. Прозвали их на флоте «дивизионом хреновой погоды» – вообще-то, не «хреновой», а иначе.)

Лев Плещеев, сын уездного землемера из Олонца, гимназию окончил в Петрограде в шестнадцатом году и, по его словам, «кинулся в революцию». Нет, шашкой не махал, не мчался в конной лаве на беляков, но повторял полюбившиеся строки Багрицкого: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед». Да и сам с молодых лет сочинял стихи, потом на прозу перешел. Слог у Льва был, как тогда требовала жизнь, вздыбленная революцией, возвышенный, исполненный патетики, – его очерки стали печатать в «Красной газете». Так оно и пошло – Лев Плещеев сделался в Петрограде—Ленинграде заметным журналистом.

Но главным событием своей жизни он считал именно *кронштадтский лед*. В памятном двадцать первом году учился Плещеев на морских командных курсах. В марте вспыхнул в Кронштадте мятеж, несознательная матросня – клёшники поддались антисоветской агитации бывшего царского генерала, ну и, конечно, анархисты и эсеры там устроили бузу. Пришлось стягивать на северный берег, к Сестрорецку, и на южный, в Ораниенбаум, верные советской власти войска. На ультиматум, подписанный самим предреввоенсовета республики Троцким, мятежники, наглости набравшись, не ответили. Командарм 7-й армии Тухачевский отдал приказ о взятии Кронштадтской крепости штурмом.

Группа курсантов, в их числе и Плещеев, в составе сводного полка в ночь на 8 марта сошла с южного берега на лед и двинулась к Кронштадту. Идти было трудно, лед сверху подтаял, под ногами хлюпала вода, курсанты оскользались, тихо матерились. Как ночные привидения, брели в белых халатах, надетых для маскировки. Однако дозоры мятежников разглядели их. Заметались прожекторные лучи. И началось такое...

Кронштадт бил тяжелыми орудиями (два линкора же там взбунтовались), разрывы снарядов буравили лед, выбрасывая гигантские фонтаны дыма, огня и воды, небо рвалось и грохотало, пульсировало багровыми вспышками – да нет, невозможно пройти – к чертовой матери...

Плещеев потерял себя. Да и не он один. Повернул и, пригнувшись, пустился бежать назад, к южному берегу, к спасению...

Какое там!.. Размахивая наганом, встала, освещенная прожектором, огромная фигура в белом, черные усищи поперек красного лица.

– Куда-а, так вашу мать! – заорал ротный, покрывая грохот разрыва. – Застрелю, так вашу пушку-бляшку-р-растакую...

Опомнился Плещеев – ну красный же боец, – пересилил себя, побрел сквозь огонь на крепость Кронштадт...

Нет, не прошел в ту ночь сводный полк, только-только зацепился за берег Котлина, две роты потерял – отступил. Шедший левее 561-й стрелковый полк тоже не прошел, и говорили, что один его батальон передан мятежникам. Части северной группы, наступавшие с Лисьего Носа, тоже не имели, как говорится, успеха. Да какой там успех, если в Кронштадте пушек – как у ежа иголок, разве подступишься?

Прибыло в Ораниенбаум пополнение – свежая 27-я дивизия, так в трех ее полках бойцы замитинговали: «Не пойдем на лед!» «Самого» товарища Дыбенко отказались слушать, как он стал кричать и совестить их. Конечно, по революционной строгости, их разоружили, арестовали зачинщиков – ну, как положено.

Но мятеж-то подавить надо. Красная Горка, переименованная в форт Краснофлотский, ударила по Кронштадту. Вступили и другие тяжелые орудия, подвезенные на северный и южный берега. Аэропланы полетели, сбросили тысячи фунтов бомб, норовили в линкоры попасть – «Петропавловск» и «Севастополь». Кронштадт, конечно, отвечал тяжеловесным огнем.

А красный боец курсант Лев Плещеев, вы поймите правильно, был сам не свой: не мог себе простить, что струсил там, на льду. Стыд и позор! – корил Лев себя, с головой накрывшись жидким одеялом в нетопленной казарме в Ораниенбауме, в Военном переулке. Вот крикнуть бы сейчас: «Товарищи бойцы! Друзья-курсанты! Перестаньте храпеть... взгляните на меня... Мечтал в пламенные герои... ну как же, „выросли мы в пламени, в пороховом дыму“... а получилось – „бежал Гарун быстрее лани...“. Но послушайте, братья! Никогда, никогда больше не повторится, чтоб я, Лев Плещеев, повернул вспять и побежал с поля боя... Никогда!»

И верно: в ночь на 17 марта, когда снова пошли на штурм красные полки, он, Лев Плещеев, шел по льду наравне со всеми, можно сказать, призраками в белых халатах, шел сквозь прожекторный свет, сквозь огонь, обходя воронки – полыньи с черной водой. А воды было на льду с пол-аршина, почти по колено, оттепель же, страшное дело... Падали, сраженные осколками снарядов, в воду... Но те, в кого не попали, шли и шли врассыпную... В обход форта... как его, «Милютин»... Вот из тумана проявился темный котлинский берег, дома, трубы, а левее что-то горело.

Ноги не шли, усталость страшная... А с берега – уже и пулеметный огонь... «Вперед, вперед!» – дико орет кто-то... Да уж, не назад же... Кто назад повернет, тот на цепь заградотряда нарвется, и привет... «Вперед! Даешь Кронштадт!»

Под утро уцелевшие бойцы юггруппы прорвались в Кронштадт. Долго бились у пристаней. Еще помнил Плещеев, как в конце дня заняли водокачку.

Сам не свой был красный боец Лев Плещеев – не только от страшной усталости, но и от подавленного внутри себя страха. Перебежками продвигались по какому-то переулку. Из двух неосвещенных окон били из винтовок. Плещеев залег в яму, среди вывороченных разрывом снаряда булыжников, и стрелял в те окна, пока в подсумке не осталась последняя обойма. Но и оттуда, из окон, огонь редел. Грязный мокрый маскхалат Лев давно сбросил. Бушлат тоже был мокрый насквозь – весь он, красный боец Плещеев, состоял из мокрых костей и голодного ледяного нутра. И сил никаких уже не было, вот заснуть бы в этой чертовой луже...

– Пошли! – крикнул рябой Карпухин, командир отделения. – В тот подъезд! – И ткнул Плещеева прикладом в плечо. – А ну, подымайся, лохматый!

Втроем – Карпухин, Плещеев и молодой курносый боец, непрерывно сплевывающий, – поднялись по темной лестнице, по скрипучим ступенькам, на второй этаж, вышибли дверь и вошли в квартиру. И тут было темно, электрическая станция не давала света, только в кухне слабо светилось.

Ворвались в кухню. Там женщина в сером, нагнувшись, бросала поленья в горевшую плиту; ребенок, босой, одетый тоже во что-то серое, держался за длинную ее юбку и тоненько пищал, скулил.

– Кто тут стрелял?! – свирепо заорал Карпухин.

– Что ты, что ты, никто не стрелял, – быстро заговорила женщина. У нее голова была повязана старушечьим темным платком, но лицо молодое, глаза испуганные. – Что ты, солдатик, как можно... никто не стрелял...

– Карпухин, сюда посвети! – Плещеев разглядел винтовочные стреляные гильзы в углу. Было похоже, что гильзы впопыхах затолкали под комод, но две штуки не успели, что ли, запихнуть.

– Ну точно! – гаркнул отделенный. – И воняет порохом.

Ворвались в комнату, заставленную темной мебелью. На кровати сидела старуха, по виду ведьма: нос крючком, глазщи недобрые. На другой кровати кто-то спал, завернувшись с головой в одеяло с синей полосой в ногах.

– А это кто? – Карпухин поставил лампу на стол и ткнул спящего в плечо. – А ну, вставай!

– Не трожьте его, – прошамкала старуха, – он больной... старый... заразный он...

Карпухин тряс спящего:

– Больной, не больной, один хер, вставай!

Курносый боец откинул одеяло там, где ноги спящего, – ноги были обуты в короткие сапоги. Карпухин сдернул одеяло, заорал:

– Вставай, гребаный!

Спящий – никакой не спящий он был – медленно сел на кровати. И никаким не был стариком – ну, лет сорока, крепкий мужичок с желтой встрепанной волосней и усами. В мятом темно-сером пиджаке. Исподлобья глянул на Карпухина.

А тот – неистово:

– Ты стрелял из окошка?!

Из-под желтых усов – хриплое:

– Нет.

– А почему одетый-обутый под одеялом? – Карпухин вдруг схватил мужичка за руку. – Вот! – У мужичка между большим и указательным пальцами была наколка – синий якорек. – Вот! – орал Карпухин. – Клёшник, так твою мать! Куда винт упрятал?!

Дернул желтоусого за руку, тот вскочил, оказавшись чуть не двухметрового роста, – в следующий миг Карпухин отлетел от удара в лицо, повалился на колени старухи-ведьмы, та – в крик, и молодуха в дверях – в крик, а желтоусый выкрикнул: «Сволочи! Революцию загубили, гады!» – и кинулся к двери, но курносый боец, живо вскинув винтовку, выстрелил, и Карпухин стрельнул из своей. Мужичок коротко застонал и рухнул ничком у ног молодухи.

– А-а-а-а!.. – завопила она, упав на колени над дернувшимся и замершим телом. Босой ребенок рядом с ней визжал, широко разевая рот.

Карпухин, с разбитым до крови рябым лицом, оттолкнул женщину и перевернул мужичка на спину. Тот лежал без дыхания, без жизни, в мятом пиджаке, из ворота которого виднелась матросская тельняшка.

– Всё, – сказал Карпухин. – Приказ был: кто с оружием, тех в плен не брать, а на месте... Пошли! – скомандовал он.

Курносый боец сплюнул и двинулся за ним. Пошел и Плещеев, еле передвигая ноги, словно схваченные ужасом.

Бальмонт был виноват. Да, тот самый Константин Бальмонт, символист знаменитый.

На курсах была библиотека, небольшая, из случайных книг, вывезенных из буржуйских домов. Такая блажь пришла в голову начальнику курсов: мол, пусть курсанты, будущие командиры Красного флота, читают не только наставления по морскому делу, но и книжки – ну, конечно, такие, в которых нету контрреволюции. За библиотекой присматривала, выдавала книжки курсантам девица Вера. Тихая, голос тонкий, а еще тоньше – талия, вокруг которой, наверно, можно было сомкнуть пальцы двух рук. Черная челочка ниспадала на огромные, в пол-лица, глаза, а в глазах такая разлита голубизна, какая в петроградском небе бывала только на Пасху (само собой, в старое время).

Курсант Лев Плещеев и утонул в этих голубых озерах, в глубине которых мерцало что-то такое... непонятное... Он и вообще-то имел пристрастие к чтению книжек, и особенно – к стихам. А тут еще и голубоглазая дева, будто сошедшая со старых рождественских открыток (были такие у плещеевской богомольной мамы – там, в Олонце). Говорили промеж себя курсанты, что эта Вера с немецкой фамилией Регель была дочерью корабельного инженера с

Балтийского завода, на котором прежде работал слесарем-сборщиком товарищ Акимов, ныне начальник курсов. И вроде бы папа ее, Регель, сидел, понятное дело, в Чека. Но кто-то из новой власти (да не сам ли Акимов?) поручился за него, что он не эксплуататор трудового народа, и спас от неминуемого расстрела.

Так ли, нет ли, а Лев Плещеев в юную деву Веру влюбился с первого взгляда. Женская красота на него сильно действовала, – еще учась в гимназии, он это понял. А тут к тому же Бальмонт...

Надо сказать, что у папы Плещеева, олонецкого землемера, стояли на полке книжки не только относящиеся к его земельной профессии, но и сочинения Некрасова, Пушкина, Лермонтова, Жуковского. Стоял, между прочим, и томик Плещеева Алексея Николаевича – нет, родства между ним, дворянином, хоть и опальным, и разночинцем-землемером не было никакого, просто однофамильцы (хотя, допускал землемер, что кто-то из предков мог быть крепостным у предков поэта, а ведь крепостным, бывало, давали фамилию барина). После Некрасова и Кольцова был Алексей Плещеев любимым поэтом олонецкого землемера. «Вперед без страха и сомненья», – часто напевал он плещеевское стихотворение, считая его (и, вероятно, справедливо) «Марсельезой» поколения петрашевцев.

От папаши, верно, и унаследовал Лев Плещеев любовь к русской поэзии. А тут, на курсах, в тесной библиотеке, высмотрел он книжку стихов «Будем как солнце» Константина Бальмонта и принял ее из маленьких рук голубоглазой девы как дар своенравной судьбы.

Надо сказать, что и она, Вера Регель, обратила внимание на этого курсанта с давно не стриженной рыжеватой гривой, с правильными чертами юного лица, несколько подпорченными восторженным выражением карих глаз. В комнатке, заставленной книжными полками, сидела Вера за столиком, какие в буржуйских домах называли ломберными, и с неясной улыбкой на розовых губах слушала, как этот курсант пылко говорил:

– В великое время живем, товарищ Вера! Перестройка всей жизни идет.

– Вы правы, товарищ курсант, – тонким голоском отвечала дева. – Только вот – печки нечем топить. Как бы не замерзнуть.

– Не замерзнем! Новую жизнь построим, и дров будет – сколько захочешь.

– Мне много не надо...

– Все леса на планете будут наши, да! – И, прикрыв пылающие глаза, декламировал странный курсант Плещеев:

Так-то, темный лес,
Богатырь Бова!
Ты всю жизнь свою
Маял битвами.

Не осилили
Тебя сильные,
Так дорезала
Осень черная...

– Откуда это? – интересовалась Вера.

– Кольцов это! Какой поэт! А вот из книжки «Будем как солнце» Бальмонта...

– Бальмонта, – поправила Вера.

– Да? Ну пускай Бальмонт. – И, прикрыв глаза, шпарил Плещеев наизусть:

Ты мне понравилась так сразу оттого,
Что ты так девственно-стыдлива и прекрасна,

Но за стыдливостью и сдержанно, и страстно
Коснулось что-то сердца твоего...

– Ну и память у вас, курсант Плещеев, – улыбалась Вера.
А он, поощренный, еще охотней свою память, и впрямь удивительную, выказывал:

Если можешь, пойми. Если хочешь, возьми.
Ты один мне понравился между людьми.
До тебя я была холодна и бледна.
Я с глубокого, тихого, темного дна...

Тут прервал их интересную беседу курсант Лысенков – втиснулся книжки поменять. Помигал на Плещеева и уставился, как некто на новые ворота, на книжную полку. Вера помогла ему, неторопливому, выбрать книжку для чтения – «Похождения Рокамболя».

– Это очень интересно, – сказала. – Про разбойника французского. Записать вам?

Лысенков пожал могучими плечами, попытался прочесть фамилию автора: «Пон-сон дю Те...»

– Дю Террайль, – подсказала Вера. И, когда Лысенков наконец выбрался из узкой двери вон, спросила: – Ну и что же та русалка с тихого дна?

Шел холодный октябрь двадцатого года. Петроград, похоже, погружался в зиму, миную осенние месяцы. С вечно темного, навалившегося на городские крыши неба сыпался ранний снег – днем таял, по ночам подсыпал опять. Почти не утихал резкий ветер, бороздя и возмущая Неву угрозой наводнения. Рано темнело, и были перебои с электричеством. Останавливались трамваи, всегда переполненные, обвешанные пассажирами.

Вере трамваи не требовались: от 4-й линии Васильевского острова, где она квартировала с родителями, до 11-й линии, где помещались курсы, можно было и пешком. В один из октябрьских вечеров, когда Вера возвращалась с работы, на углу Большого проспекта и 8-й линии на нее напали двое, она побежала с криком о помощи, но улицы были пустынные, те двое, матерясь страшно, догнали ее и отняли старую оконную раму, которую она несла для топки. (Эту раму, найденную на чердаке, ей Плещеев принес в библиотеку.)

С того вечера Вера – в те дни, когда приходила на работу, – оставалась ночевать в библиотеке: устроила там на деревянном диванчике лежанку. Из дому принесла подушку и мягкий коричнево-клетчатый плед.

– Папа категорически запретил выходить вечером на улицу, – сказала она Плещееву.

– Правильно, – кивнул тот. – Ничего хорошего там нет, на улице.

В тот вечер не было электричества. Вера зажгла керосиновую лампу. За окошком посвистывал ветер, швырял в темное стекло пригоршни снега.

– Говорят, в Питер к Горькому приезжал английский писатель, – сказал Плещеев, засидевшийся, как обычно, в библиотеке. – Ты слышала?

– Да, – сказала Вера. – Слышала. Завтра придется пойти в Черезутоп, просить, чтоб дрова выдали.

– Пусть отец сходит. Там очереди огромные.

– Папа заболел. И мама еле ходит. Еще ни разу дров не выдали этой осенью. Совсем с ума сошли там.

Она взмахнула рукой в сторону окошка. Плещееву вдруг ужасно захотелось поймать эту маленькую руку – поймать и не отпускать. Большеглазая девушка в синем вязаном жакете, сидевшая перед ним, отбрасывавшая странно мятущуюся тень от лампы на книжные полки,

притягивала его, как север притягивает компасную стрелку. Лампа горела неровно, что-то в ней потрескивало.

Плещеев читал наизусть:

Я был желанен ей. Она меня влекла,
Испанка стройная с горящими глазами...

Метался огонек в лампе от его пылкой, нараспев, декламации. Он читал:

Хочу быть дерзким, хочу быть смелым,
Из сочных гроздий венки свивать.
Хочу упиться роскошным телом,
Хочу одежды с тебя сорвать!..

Вера вдруг встала и подошла к Плещееву, вплотную. Он вопрошающе заглянул в глаза-озера, в глубине которых мерцало что-то непонятное.

– Хочешь быть смелым, – быстро сказала Вера, – так будь...

Опыта таких отношений у Плещеева не было (если не считать единственного, в Олонце, случая, когда великовозрастная девица, помощница отца по землемерному делу, затащила его, пятнадцатилетнего гимназиста, на сеновал). Не было и у Веры – вовсе. Но то, что произошло в тот октябрьский поздний вечер на деревянном диване, при колеблющемся полусвете керосиновой лампы, стало началом их супружеских отношений.

Тут следует пояснить, что родители Веры – особенно Иван Теодорович, происходивший из старого рода остзейских немцев, – настаивали на закреплении оных отношений, а именно на регистрации брака. Когда же Плещеев обратился к начальнику курсов за разрешением на женитьбу, тот удивленно поднял брови:

– Да какая такая женитьба, товарищ курсант? Не старое время ноне. Свободная пролетарская любовь ноне.

И сослался товарищ Акимов на полезную в этом смысле книжку руководящей пролетарской женщины Коллонтай «Новая мораль и рабочий класс». В библиотеке курсов такой книжки не имелось, но смысл ее и так был понятен. Новая мораль – она и есть новая. Хотя Ивану Теодоровичу она не нравилась. Впрочем, у него и поэт Бальмонт был не в чести. (Иван Теодорович, если хотите знать, больше всех любил Шиллера.)

А зима надвинулась холодная и голодная. Хотя и кончилась война (на юге скинули Врангеля в Черное море, на западе – чуть было до Варшавы не доехали), недаром же песня сложилась про то, что «от тайги до британских морей Красная армия всех сильней», – кончилась, кончилась война наконец-то, а в Петрограде зима шла беспокойная. Паек срезали до полутора фунтов хлеба. И продолжали стоять на дорогах заградительные отряды – у тех, кто вез в Питер из деревни какое-никакое продовольствие, отнимали мешки по революционному декрету.

И другое дело, большое недовольство вызывал Черезутоп, то есть управление чрезвычайного уполномоченного по топливу. Если в прежнее время дров всегда хватало, на Сенной площади деньги заплатишь – тебе в тот же день привезут сколько хочешь, хоть целый воз, то теперь они, дрова, неизвестно куда подевались. Распределяли их люди хмурые и грубые, выдачи были скудные, и очень они трепали нервы обывателям. Однажды в ноябре (еще в те дни не встала Нева) объявили выгрузку дров с барок, тысячи людей работали с утра до темна на пристанях. Работал на разгрузке и Иван Теодорович. В тот безумный день, пронизанный ледяным норд-остом, он, видно, и подхватил сыпнотифозную вошь. И свалился с сыпняком – такая получилась страшная плата за разгрузку барки.

Иван Теодорович выжил: крепкий был мужчина, основательный. Но слегла его заботливая жена Полина Егоровна, и уж ее, ослабленную недоеданием и вообще трудной жизнью, сыпной тиф доконал. Перед кончиной она, глядя на Плещеева угасающими глазами, прошептала: «Веру спасите...»

Нет, Вера не заразилась, не заболела. Откуда в ней, тростиночке, столько обнаружилось жизненной силы? Бог весть. Иван Теодорович, страшно исхудавший, пытался помочь дочери. Тонким своим голосом Вера командовала: «Папа, ложись и лежи. Я сама». Растапливала буржуйку – чугунное чудо в середине комнаты (после уплотнения в девятнадцатом году им, Регелям, из четырех комнат оставили одну – правда, большую, бывшую залу с лепными гиляндами по углам потолка), варила пшеничную кашу, черный чечевичный суп. Молола в кофейной мельнице сушеные картофельные очистки – заваривала их вместо исчезнувшего колониального продукта чая. В очередях стояла за пайком – хлебом, крупой и селедкой.

А что Плещеев? Конечно же, как только получал увольнение, он мчался, быстроногий, на 4-ю линию, к Веруне (так называл он свою ненаглядную). Каждый раз приносил то пару поленьев, то обломок доски, а то – горбушку черняшки или не съеденную за обедом вареную воблу, завернутую в «Красную газету». Между прочим, в этой газете дважды уже напечатали его заметки. В них Плещеев не просто описывал, как учатся на курсах будущие командиры Красного флота, а выражал безусловную уверенность в победе коммунизма над разрухой и другими временными трудностями жизни и, конечно, над мировой буржуазией и прочими классовыми врагами. Умел Плещеев находить нужные слова для повышения революционного духа у читателей-обывателей.

Тревожная зима и курсантов подняла по тревоге. В феврале на многих заводах Петрограда начались забастовки. Рабочие на митингах требовали – от своей, можно сказать, пролетарской власти – прекратить уменьшение выдачи хлеба. Да и не только хлеба – требовали свободной торговли, свободного перехода с завода на завод. На Трубочном заводе, что на Васильевском острове, кроме пайкового вопроса, вписали в резолюцию требование *перехода к народвластию*. Это как понимать, товарищи?! Исполком Петросовета постановил закрыть завод и начать там проверку. Утром 24 февраля трубочники вышли на улицу. К ним стали прибиваться рабочие с других заводов – огромная толпа собралась на Васильевском острове на митинг, не предусмотренный властью. Это что ж такое?! Разогнать крикунов! А кого на разгон? В гарнизоне тоже недовольство, замечено, что красноармейцы ходят по домам, предлагают что-то обменять на хлеб. Были случаи отказа от нарядов из-за отсутствия обуви, теплого обмундирования. Ну, у красных курсантов с пайком получше, и сапоги не драные, – поднять их по тревоге!

А как ощущал себя Плещеев, медленно надвигаясь в цепи курсантов с винтовкой наперевес на толпу недовольных, рассерженных людей? *Странно* было Плещееву. Неуютно как-то. Не на буржуазию шли они, курсанты, угрожая расстрелом. Не на белогвардейцев, не на врагов рабочего класса – именно на рабочий класс и надвигалась цепь красных бойцов... Черная (в бушлатах) шеренга на слитную серую массу... Только бы не скомандовали открыть огонь по братьям по классу... Кто-то зычно кричал в рупор: «Разойтись! Разойтись!»

Уж и то хорошо, что обошлось без крови. Медленно, неохотно расходились бастующие. В тот же день на экстренном заседании Петроградского комитета РКП(б) волнения на заводах были объявлены мятежом. А на следующий день, 25 февраля, ввели в городе военное положение. Покатилась волна арестов.

В Петрограде аукнулось – откликнулось в Кронштадте...

Вадим родился 1 августа того же страшного двадцать первого года. Роды были трудные. Если б не гинеколог Розалия Абрамовна, соседка со второго этажа, то, может, Вера не выжила бы. Рожала она дома. За стеной шла гулянка у Покатиловых, орали там пьяными голо-

сами: «Как родная меня мать провожа-ала, тут и вся моя родня набежа-ала...» Под эту лихую песню и вытащила соседка-доктор Веру с того света. С еле слышным стоном роженица открыла закатившиеся было глаза, и Лев Плещеев бросился на колени – целовать свою Веруню, – но Розалия Абрамовна твердой рукой отстранила его: «Отойдите! Дайте ей отдышаться!» Из-за стены гремело: «Не ходил бы ты, Ванек, во солдаты!» И проистекал оттуда душный чад жареной гусятины...

Так он, значит, и появился на свет – Вадим Плещеев. Детство его совпало с нэповским временем: Ленинград ожил, откуда ни возьмись появились за отмытыми от долгой войны витринами розовые языки ветчины, желтенькие волны французских булок. Сосед Покатилов, в пьяном виде склонный к шумному умилению, открыл торговлю туалетным мылом и зубным порошком. И вот еще важные приметы наступившего времени: сворачивал свою пугающую (и стреляющую) деятельность Комдезертир (то есть комитет по борьбе с дезертирством), и были, ну это как вздох облегчения, сняты с дорог и железнодорожных станций заградительные отряды.

Жизнь налаживалась. На Балтийском судостроительном заводе снова затрещали давно умолкнувшие клепальные пневматические молотки. Крупные корабли страна, разоренная войной, еще не тянула, куда там, молотков пневматических – и тех на заводе всего пять штук, по одному винторезному и сверлильному станку, да и прочее оборудование если и уцелело, то «процент годности» был никудышный. Иван Теодорович Регель, строитель кораблей, мотался по новым ведомствам, выбивал для завода лимиты электроэнергии, листовое железо, инструменты – много тратил сил на преодоление некомпетентности, бюрократизма, а порой и хамства новоявленных начальников этих ведомств. Было время, он, выпускник политеха, увлеченно работал младшим помощником строителя линкора «Петропавловск». Теперь другое время настало. Истрепанной войной и разрухой флот – уцелевшие корабли – надо было капитально ремонтировать. Вот эскадренные миноносцы типа «Новик» – правильное принято решение об их ремонте, можно выгнать бывших быстроходных красавцев с мертвых стоянок, новую вдохнуть жизнь в их ржавые корпуса. А дальше – внимание, внимание! – появился проект первенца советского кораблестроения – сторожевика «Ураган». С него-то и началось создание дивизиона хреновой (или как ее) погоды. «Новики», можно сказать, и не мечтали о такой энергетической установке, какой оснастили новые сторожевики: из двух котлов и двух турбозубчатых агрегатов.

То было начало звездного времени для советских корабелов. Иван Теодорович работал поистине с юношеским увлечением. Его голубые глаза, омертвевшие после смерти жены, снова наполнились жизнью. Он отрастил рыжую бородку. По вечерам у себя в комнате (в большой зале поставили перегородку, в одной комнате жили Плещеевы, во второй Иван Теодорович) он обдумывал какое-то новшество, рассчитывал, чертил. И вот однажды, с согласия конструктора, он на строящемся «Урагане» применил вместо обычной клепки – сварку. Не удивляйтесь: во всем мире на стапелях тарахтели пневматические молотки, части корабельного набора соединяли заклепками. А тут, ниспровергая основы, рассыпала огненные искры сварка автогеном: приварили одну из палубных конструкций. Как раз в эти минуты поднялся на палубу командир будущего дивизиона, моряк бывалый и дотошный. «Эт-то что такое?» – сильно удивился он. «Новшество, – сказал строитель Регель. – Сварка вместо клепки». – «Да вы что, смеетесь? Я ваше новшество ногой собью!» Иван Теодорович не успел его удержать. Командир дивизиона ударил ногой по свежесваренной конструкции – и заплясал от боли. С его ботинка слетела подметка...

Ворочал Иван Теодорович в толковой своей голове и другие идеи. А по субботним вечерам собиралась у него в комнатке теплая компания друзей-корабелов. Играли в умственную игру преферанс, пили чай, а то и портвейн, шутили, вспоминали былые времена.

Но жизнь, в которой плыли они, как в недостроенном корабле, опять наполнилась непредсказуемостью и тревогой. Куда-то подевалась советская дозволенная буржуазия – закрывались нэпманские лавки и рынки, снова возникла нехватка продуктов. Зато в двадцать девятом году появились карточки. Сосед по квартире Покатилов, распродав по дешевке весь зубной порошок, бессознательно пил три недели, а потом, опохмелившись чем-то едим, пошел туда, откуда и вышел, – в слесари-водопроводчики домоуправления.

После убийства Кирова в декабре тридцать четвертого покатила по Ленинграду новая волна арестов. Докатила и до Балтийского завода. В одну из длинных февральских ночей взяли Котова Бориса Кузьмича. Игры в преферанс у Ивана Теодоровича прекратились. Он помрачнел, осунулся. Уже не с прежним тщанием подстригал квадратную седеющую бородку. За вечерним чаем, если Вера спрашивала, как идут дела на заводе, Иван Теодорович отвечал неохотно и коротко: «Работаем. Клепаем». Иногда обращался к зятю: «Что нового в мире, Лева? В Греции что, опять военный переворот?» Плещеев отвечал развернуто, но Иван Теодорович слушал без интереса. Допивал чай, говорил: «Спасибо, Верочка» – и уходил к себе.

А однажды попросил дочку уложить в небольшой чемодан «минимум необходимого».

– Что ты имеешь в виду? – встревожилась Вера.

– Ну, теплые носки, три смены белья, зубную щетку...

– Папа! – вскричала Вера. – Что у вас происходит на заводе?

– То же, что и во всем городе, – ответил Иван Теодорович. И, слегка усмехнувшись, добавил: – От судеб защиты нет.

Вот уж точно это сказано классиком. Наверное, ОГПУ занесло уже инженера Регеля в свои черные списки, но судьба – да-да, именно она – распорядилась иначе.

Темным октябрьским утром Иван Теодорович включил переносную лампу и, волоча ее на длинном шнуре, полез через узкую горловину в междудонье строящегося судна. Грызло его беспокойство, что в днищевом наборе что-то неправильно сварено. Он полз, метр за метром, сквозь узкие лазы, светя на вырезы переноской – и вдруг переноска погасла. Черт знает почему. Может, там, на палубе, кто-то случайно выдернул вилку. Иван Теодорович, с трудом развернувшись, пополз назад, но воротником ватника на затылке зацепился за что-то – за стальные заусенцы, должно быть. Попытался освободиться, но зацепился еще и хлястиком. Тут покрашено было недавно, от острого запаха краски голова разламывалась. Он барахтался в дикой тесноте. Междудонье держало крепко. Кричать не было смысла: никто не услышит, наверху грохотали клепальные молотки. Освободить ватник либо выпростаться из него Иван Теодорович не сумел – потерял силы, задохнулся. Когда его спустя два часа вытащили из междудонья, было уже поздно.

А что Лев Плещеев?

А вот что. Вскоре после подавления кронштадтского мятежа ушел он с морских курсов. Сам товарищ Зиновьев, предводитель ленинградских большевиков, санкционировал переход способного молодого журналиста в «Красную газету». Своими пылкими карими глазами Плещеев всматривался в новую жизнь, ища в ней, по его словам, животрепещущий материал. С годами он сделался видным очеркистом «Ленинградской правды», издал две книги очерков (одна – об ударном строительстве Хибинского комбината) и вступил в РАПП, а впоследствии в Союз советских писателей.

Его первая книга открывалась большим очерком «Даешь Кронштадт!», в котором было много революционной патетики, описаний героизма красных бойцов и много презрения к мятежникам (и особенно – к вожакам мятежа, удравшим по льду в Финляндию и избежавшим заслуженной кары).

Ярко лег на бумагу этот очерк, и не будет преувеличением упомянуть, что его автор Лев Плещеев приобрел в Ленинграде репутацию героя исторического штурма. Он любил повто-

рять фразу из поэмы поэта Багрицкого «Смерть пионерки», напечатанной в журнале «Красная новь»: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед».

Да, любил поэзию журналист (а потом и писатель-документалист) Лев Плещеев. Нельзя, однако, обойти стороной *одно обстоятельство*. Болезненно отдавалось в памяти, как при первом – неудачном – штурме он, Лев Плещеев, постыдно струсил на льду под огнем кронштадтских пушек, в перебегающих лучах прожекторов, – да, струсил и побежал назад, но был остановлен и едва не расстрелян ротным командиром. Дал себе слово Плещеев, что никогда – никогда! – такое малодушие не повторится. И слово держал. Даже когда поехал в тридцатом году в область описывать сплошную коллективизацию и вместе с провожатым милиционером попал под кулацкий обстрел на выходе из одной деревни, даже тогда он не позволил себе *впасть в трусость* и побежать в укрытие – ближайший сарай. Просто упал ничком на сырую после дождя землю и лежал, прикрыв голову руками, пока милиционер отстреливался из нагана.

Во время той поездки навестил Лев Плещеев в Олонце своих родителей. У них были неприятности в ходе жизни. Мама, Софья Ивановна, потрясенная закрытием церкви, слегла совсем больная: у нее руки дрожали и голова мелко тряслась. Сам же Василий Евтропович Плещеев имел сильные расхождения по вопросу коллективизации с председателем волисполкома, человеком хоть и заслуженным в Гражданской войне, но малограмотным и крайне грубым.

– Выучил одну фразу: «Я творю волю партии» – и твердит ее, как попка-дурак, – говорил старший Плещеев сыну, когда после обеда, выпив по стакану самогона, вышли они покурить на поросший ивняком берег реки Олонки. – Я ему толкую: нельзя отрывать от земли Шестаковых и Черновых, никакие они не кулаки, а трудовые земледельцы. А он бухает кулаком по столу, глаза навывкате, и орет: «Творю волю партии! Классовым врагам нет пощады...» Что же это творится, Лёв Васильич?

Так он сына называл: Лёв Васильич. А что же мог отцу ответить Лёв Васильич? Хоть и был он видным к тому времени журналистом, но не мог же заступиться за классового врага кулака. Его другое беспокоило: отец заметно сдал. Голос потерял Василий Евтропыч. Сутулясь больше обычного, осипшим, лишенным звука голосом рассказывал о неприятностях текущего момента.

– Послушай, отец, – прервал Лев его напряженный шепот, – тебя надо врачу показать. Давай-ка я повезу тебя в Питер.

– Чего я там не видел? – просипел землемер. – Как я мать тут оставляю?

– Тетя Таня за мамой присмотрит. А ты поживешь у меня...

– Не поеду. Дай-ка еще папиросу. У нас «Казбека» не бывает.

– Да на одну неделю всего, – уговаривал Лев. – Отец, надо хорошему врачу показаться.

Прошу, не упрямясь.

Но землемер Плещеев наотрез отказался ехать в Ленинград.

Дед Василий умер от рака горла летом тридцать второго года.

А осенью тридцать пятого умер – задохнулся в междудонье строящегося корабля – другой мой дед, Иван Теодорович.

Накануне, в сентябре того же тридцать пятого, от нас с мамой ушел отец. Точнее: мама его прогнала. Трудно мне дается это воспоминание...

Знаете, я гордился отцом. Он был в Питере в некотором роде знаменитостью. Ну как же, герой штурма мятежного Кронштадта. Рыцарь карандаша и блокнота, Лев Плещеев хотел все увидеть и обо всем написать. Мне нравились его очерки о стройке в Хибинах, у подножия горы с романтическим названием Кукисвумчорр, огромного апатитового комбината. Здорово писал

отец и о строительстве сторожевых кораблей для возрождающегося Балтфлота, и о первых советских подводных лодках.

Мама посмеивалась, глядя на нас: «До чего вы похожи». У отца была огромная шевелюра табачного цвета и пыльные карие глаза (с годами он стал носить очки, но, так сказать, температура взгляда держалась на высокой отметке еще долго). Цветом волос и глаз я, и верно, похож на отца, да и походкой, слегка косолапой, тоже. Тут генетика сработала точно. Но не было у меня гена победоносной манеры держаться, столь характерной для отца. Ну да ладно.

Еще объединяла нас с отцом склонность к шуточкам, иногда, по мнению мамы, неуместным. И конечно, интерес к морю, к флоту. Отец собрал неплохую библиотеку морских романов, я их все перечитал – «Двадцать тысяч лье под водой», «Труженики моря», «Фрейя семи островов», «Остров сокровищ», «Мичман Изидор», «Фома Ягненок», и особенно любимые книги Грина, и «Соленый ветер» Лухманова. Мы с Оськой Виленским, соседом со второго этажа, обменивались книгами и марками, играли в военно-морской бой. Когда учились в десятом классе, увлеклись греблей – в яхт-клубе нас закрепили в команде одной из «шестерок», мы ходили на веслах по Неве и несколько раз под парусом выходили в Финский залив.

Оська был сыном гинеколога Розалии Абрамовны и профессора-искусствоведа Михаила Лазаревича Виленского. Знаете выражение: не от мира сего? Вот таким человеком был этот профессор. Всегда в черном костюме и черном галстуке, повязанном вокруг стоячего воротничка, с седой щеточкой усов, он, казалось мне, жил не в нашем беспокойном двадцатом веке, а черт знает когда – в древней Греции, да и еще древнее, в минойскую (или крито-микенскую) эпоху. «Здрасьте, Михал Лазарич», – говорил я при встрече. Он вскидывал на меня взгляд бледно-голубых глаз и отвечал: «А, это ты, быстроногий ристатель». Я однажды спросил, почему он меня так называет. Профессор тронул одним пальцем усы и сказал, что в мои годы уже следует прочесть «Илиаду», а не бегать по чердакам. Ну, я, вообще-то, не бегаю по чердакам...

То есть, конечно, я понял, что имел в виду профессор. Оська однажды стащил из его кабинета страшную маску разъяренного быка и привязал к голове, а я нацепил маску кабана, и мы, завывая, вкатились на четвереньках в полутемный чердак нашего дома в ту минуту, когда там развешивала выстиранное белье Клавдия, крикливая жена слесаря Покатилова. Она завизжала от страха на весь Васильевский, но в следующий миг выхватила из таза мокрое полотенце и накинулась на нас, выкрикивая известные слова. Конечно, Покатиловна (так мы называли ее) нас узнала и пожаловалась и моему, и Оськиному отцу.

Оська был склонен ко всяческим проказам. Таких, как он, бузотеров называли *стрикулистами*. Этимология этого слова мне не ясна, ну да ладно. От Райки не раз я слышал, что у Оськи несомненный музыкальный талант. Он хорошо играл на скрипке. Во время игры – я видел – Оська преображался, дурашливая улыбочка улетучивалась, он поджимал толстую нижнюю губу, а в глазах возникало как бы удивление красотой звука, извлекаемого из скрипки.

Оба они, Оська и Райка, кроме музыки, обучались и немецкому языку, дважды в неделю ходили на уроки к частной учительнице.

Однажды Оська наткнулся в телефонной книге на фамилию Зайчик. Он прибежал ко мне, и мы, недолго думая, позвонили. «Это Зайчик?» – спросил Оська. «Да», – ответил обладатель замечательной фамилии. «Пиф-паф!» – крикнул Оська. Мы захохотали, два жизнерадостных дурачка. С того дня это стало нашей игрой. «Это Зайчик?» – говорили мы в трубку. – «Пиф-паф!» Неведомый Зайчик сердился, обзывая нас болванами, кретинами, но знаете, никогда не матерился.

Между прочим, я внял совету Михаила Лазаревича и прочитал «Илиаду». Она шла трудно, я спотыкался об архаические слова и обороты гнечичевского перевода, о бесконечное множество имен ахейских и троянских героев. Но, странное дело, постепенно я как бы вписался в торжественное течение поэмы. Как не восхититься, читая, например:

Так ополчившись пышносияющей медью, данаи
Двинулись; их предводил Посидаон, колеблющий землю,
Меч долголезвенный, страшный неся во всемогущей деснице,
Равный молнии пламенной...

Прямо глазам больно от пышносияющих медью доспехов данайцев, ахейцев, грозно идущих, ряд за рядом, в бой.

Кто теперь так пишет, как старик Гомер? Никто.

Знаете, я попробовал описать гекзаметром давешнее происшествие на чердаке:

С визгом ужасным к нему прибежала
Клавдия, гнусная сплетница, дочь Поликарпа,
Кляuzu новую тщилаась затеять, в оную впутав
Тучегонителя, славного Лазаря сына...

Оська показал мои каракули отцу. Михаил Лазаревич подозвал меня и сказал, трогая пальцем седые усы:

– Ты сочинил неплохо. Есть чувство стиля. Но ты должен знать, что у Гомера – прикрепленные эпитеты. Ахилл и Аякс – быстроногие, Гектор – шлемоблещущий. А тучегонитель – только Зевс. И никто больше. Ты понял?

Я понял. И, так сказать, прикрепил эпитеты: Оську стал называть «крутовыйный Иосиф», а Райку – «румяноланитой девой». Они были близнецами, правда Оська уверял, что старше Райки на семнадцать минут, а Райка возражала, говорила: «Трепись!»

Райка, и верно, имела на полных щечках румянец, ей это ужасно не нравилось, она вообще была полна противоречий. Училась в музшколе на фортепьянах, но вдруг объявила, что ей это надоело. Мама, Розалия Абрамовна, всполошилась: «Как так, у тебя способности, абсолютный слух!» (В еврейских семьях принято, чтобы дети непременно учились музыке.) «Буду учиться на флейте!» – заявила капризная Райка.

Я сочинил:

Дева румяноланитая, как же ты можешь
Вместо кифары прекраснoзвучающа
Дудку простую приставить к губам?

Райка засмеялась, когда я продекламировал свое сочинение, потом насупилась и потребовала, чтобы я перестал называть ее глупым словом «румяноланитая». Но я все же иногда называл, дразнил. Она, вспыльчивая, накидывалась на меня, размахивая кулачками и крича: «А ты дурак!»

Не знаю, как к музыке, а вот к шахматам у Райки точно были способности. В старших классах она вдруг стала здорово играть. Обыгрывала не только Оську и меня, но и сильных ребят из других классов и в межшкольных турнирах брала призовые места. Это странно. Женщины в шахматы играют хуже мужчин. Если не считать Веру Менчик, конечно.

Вы, наверное, заметили: только я подступлюсь к описанию главного события нашей доверенной семейной жизни, как отвлекаюсь... ухожу в сторону...

Трудно мне дается этот сюжет.

Ладно, приступаю скрепя сердце.

У нас была хорошая семья. Мама заведовала детской библиотекой, вечно бывала озабочена устройством литературных вечеров, приглашала поэтов, пишущих для детей, – ну и все такое.

Отец часто работал дома. В редакции, говаривал он, трудно сосредоточиться, много трепотни. Свои очерки он писал дома – тут никто ему не мешал.

Я приходил из школы, отец отвлеклся от писанины, спрашивал: «Ну, сколько двоек сегодня притащил?» – «Девятнадцать», – отвечал я и шел мыть руки. Мы с отцом доставали с широкого законного карниза кастрюли с едой, приготовленной мамой (холодильников в те поры еще не было), и обедали, перебрасываясь шуточками. Потом я убегал в яхт-клуб или в школу на волейбольную тренировку, отец же возвращался к сочинительству.

А вечером, когда вся семья собиралась, по выражению отца, за пиршественным столом, наступало прекрасное время. Обсуждали дневные происшествия, мама жаловалась на дуру-методистку, дед вспоминал что-либо из событий давних времен.

– Вот ты закурил любимый «Казбек», Лева, – говорил дед, отпивая чай из стакана, сидящего в старинном серебряном подстаканнике. – А знаешь ли ты, как трудно начиналось курение табака в России? При царе Алексее Михайловиче оно было строго запрещено. Если кто попадался курящим в первый раз, то получал шестьдесят ударов палкой по пяткам. Попадешься второй раз – отрежут нос или ухо.

– Ничего себе! – Отец засмеялся и стряхнул пепел с папиросы мимо пепельницы. – Хорошо, что мы не в семнадцатом веке живем.

– Да, – сказал дед. – А в восемнадцатом Россия задымила. Петр велел курить табак, на ассамблеях в Питербурхе дым стоял коромыслом.

Мама спросила:

– А если баба курила, ее что – тоже палкой по пяткам?

– Не думаю, – ответил дед. – Хотя кто их знает...

– Есть наглые бабы, которых надо колотить по пяткам ежедневно.

– Ну зачем так безжалостно?

– Затем, что не только курят, но и лезут к женатым мужчинам, – сказала мама, метнув в отца быстрый взгляд.

Ее огромные голубые глаза темнели, когда мама чем-то бывала недовольна. И тонкий ее голос как бы терял звучность, в нем появлялось нечто... не знаю... что-то сварливое...

Уж не помню, в тот ли вечер или в другой я, вычистив зубы, проходил через комнату родителей в свою (то есть в кабинет деда, где я спал на старой кушетке) и услышал, как мама бросила отцу странную фразу: «И вообще, закрой свой курятник!» Должно быть, у них происходил острый разговор, суть которого («курятник!») я понял позже, когда события разыгрались в полную силу.

Вы догадались, конечно, в чем тут дело. Ну да, отец был весьма равнодушен к прекрасной половине человечества. Дух времени, что ли, был такой. Старый мир порушен, из пролитой большой крови, из голода, из гибели, грозящей отовсюду, рождается новая жизнь – так не упустить свой шанс, ухвати то небольшое, что еще осталось из радостей быстротекущей жизни...

Мамина сотрудница по библиотеке, хромоножка Мальвина, в Александринке, не помню уж, на каком спектакле, в антракте вышла в фойе и увидела моего отца с известной в Ленинграде поэтессой Людмилой Семенихиной. Они стояли, курили, отец ей что-то рассказывал. Семенихина, крашеная блондинка, в очень пестром креп-жоржетовом (по мнению Мальвины) платье, громко смеялась и вообще держалась вызывающе.

Когда отец, спустя два дня, вернулся домой, мама спросила, где он был.

– Ты же знаешь, – сказал он, – в командировке, в Кронштадте.

– Врешь! – выкрикнула мама, ее глаза потемнели, как предгрозовое небо. – Ты был у Семенихиной!

– Вера, перестань...

Отец кивнул на меня (я только что пришел из школы и уселся за стол в ожидании обеда).

– Вадим уже не младенец, и нечего скрывать от него, что ты подлец и изменник!

Отец отвернулся. Он стоял и молчал, а мама кричала не своим голосом:

– Развратник! Мне надоели твои похождения! Убирайся к своим бабам! Видеть тебя не могу!

– Вера, успокойся, – просил отец. – Да, я виноват, но давай разумно...

Но мама бушевала; из-под черной, с проседью челочки, закрывающей лоб, рвалась гроза; обычно тихий голос обличительно гремел на весь Васильевский:

– Разумно! Я разумно молчала десять лет... просила прекратить курятник... опомниться... Нет! Все кончено! Больше не могу! Сегодня же... Убирайся!.. Чтоб ноги твоей здесь больше...

Я тоже не мог больше слушать ужасный этот разговор. Выскочил из комнаты, едва не опрокинув идущего из уборной Покатилова. Он обругал меня матом. Промчавшись по коридору, я сбежал вниз, во двор, где мальчишки гоняли мяч, и дальше, дальше, куда глаза глядят... по 4-й линии, вокруг Академии художеств... В Румянцевском сквере было малоллюдно, вот и хорошо, я бросился на скамейку близ фонтана.

Фонтан, как всегда, не работал. В его бассейне, закиданном сухими ветками и прочим мусором, прыгали, чирикавая, воробьи. С набережной тренькали звоночки трамваев. Жизнь шла, несмотря ни на что. Невозможно было себе представить ее без отца. «Родители! – зывал я сквозь слезы (да-да, первый раз в жизни я плакал). – С ума вы сошли?!»

– Мальчик, кто тебя обидел? – вдруг спросил с соседней скамейки пожилой очкастый дядя, читавший газету.

– Никто, – буркнул я и пошел вон из сквера.

Странно: будто не этот старикан меня окликнул, а кто-то сверху... Уж не сам ли полководец Румянцев с высоты своего обелиска?..

Я долго шлялся по Васильевскому острову. В голове бродили дикие мысли. Влепить пощечину отцу, крикнув: «Это тебе за предательство!» Убить поэтессу Семенихину... С криком: «Не хоч с вами жить!» – сигануть в Неву...

Когда я пришел домой, мама сидела на диване и разговаривала с Розалией Абрамовной. Я подумал: вот, соседка, врач, пришла успокоить маму. Но, кажется, было как раз наоборот. Мама выглядела обычно – то есть спокойной деловитой женщиной, знающей, как управляться с заботами дня. Словно ее не била истерика три часа назад. А вот у Розалии Абрамовны крупное толстошее лицо выглядело необычно: черные полоски бровей домиком кверху, глаза мокрые, – никогда я не видел эту сильную, несколько мужеподобную женщину такой – растерянной, что ли...

– Роза, извините, – сказала мама, – мне надо Диму покормить.

– Это вы меня извините, Верочка. – Розалия Абрамовна, вытирая глаза платком, поднялась с заскрипевшего дивана. – Очень, очень жаль, что у вас... Ну, может быть...

– Надеюсь, Роза, – перебила ее мама, встав, – что все у вас наладится. Привет Михал Лазаревичу.

Как ни в чем не бывало она разогрела на кухне обед, принесла на подносе и налила мне гороховый суп с кусочками мяса. И села напротив, подперев ладонью сухую щеку. Как бы издали взгляделась в меня, а потом сказала:

– Тебе надо постричься. – И – без всяких подготовительных слов: – Дима, нам теперь придется жить без него.

Я отложил ложку. Не шел мне в горло суп.

– Я делала все, чтоб сохранить семью. Терпела. Просила не держаться этой сволочной новой морали, ну ты знаешь, наверно, – чтобы все было так же просто, как выпить стакан воды...

За окнами вдруг стало быстро темнеть. Дождевые тучи накрыли Васильевский остров, в стекла забарабанил дождь.

– Так вы что же, разведетесь? – спросил я.

– Никакого развода не будет, потому что наш брак не оформлен. Тогда это не было нужно. Теперь другое время, браки регистрируют в загсе. Но мы так и не удосужились... Что-то я не то говорю... – Мама отвернулась к окну. – Какой ливень! А дед ушел утром без зонтика...
Погоди, Дима, съешь вот рыбную котлету.

– Не хочу, – сказал я, роясь в своем портфеле. – Оська, черт, утащил Фалеева и Перышкина...

– Что утащил?

– Учебник по физике. Спущусь к нему.

– У Виленских переполюх, – сказала мама, звякая тарелками по подносу. – Михал Лазаревичу завернули из издательства рукопись книги.

– Почему?

Я знал, что у профессора Виленского принята к изданию книга об искусстве Древней Греции, большой десятилетний труд, можно сказать – итоговый.

– Узнал, что из Эрмитажа продали двадцать картин. Рембрандта, Рубенса, Боттичелли.

– Кому продали? – недоумевал я.

– Каким-то американским миллионерам. И европейским. Португальцу какому-то.

– Ничего не понимаю. Зачем продавать такие картины?

– Не знаю. Правительству деньги, наверно, нужны. Михал Лазаревич узнал и – ну, отрицательно высказался. На каком-то академическом собрании. На лекции в университете тоже сказал, что нельзя распродавать шедевры искусства. А теперь, накануне учебного года, его вызвали в ректорат и предложили подать заявление об увольнении. По состоянию здоровья.

– Его уволили? Оська мне ничего...

– Близнецам велели молчать. Хорошо хоть, что в Академии художеств пока его не тронули.

– Что значит – пока? Он в Академии всю жизнь читает про античное искусство.

– Пока не тронули. Роза Абрамовна так сказала. Она страшно встревожена. Вчера Михал Лазаревичу позвонили из издательства, что расторгают договор. Она прибежала с отцом посоветоваться... можно ли через газету помочь...

Вот как: к отцу пришла. А отца – нет. Мама его прогнала. Как же это... нет и не будет?.. Чертовщина какая-то...

Мама вдруг прижала мою голову к своей щеке:

– Димка, ты прости... прости нас, что так нехорошо, некрасиво... Пойми, пойми, я долго терпела, но уже просто невозможно...

– Понимаю, мам, понимаю. – Я гладил ее по худенькой спине. – А отцу никогда не прощу. Она отшатнулась, всмотрелась в меня:

– Нет, Дима, так тоже нельзя. Он же отец, он любит тебя, вы должны встречаться и...

– Не прощу, – повторил я упрямо. – Предательство не прощают.

Спустя месяц умер дед – задохнулся на строящемся корабле. Никогда не забуду, как рыдала над его гробом мама. Вселенский плач – кажется, так называется это...

Глава вторая

Вадим Плещеев влюбился

Парголово!

Сквозь режущий глаза морозный ветер, сквозь снежную пыль, взметенную лыжниками, сквозь парок собственных выдыхов видит Вадим Плещеев темную полосу леса. Туда уходит лыжня, да не одна, и лавиной скатываются по ним курсанты с горки – черные бушлаты, черные шапки, разгоряченные молодые лица, мелькание палок, чей-то разбойный свист...

Сто раз, а может больше, бегал тут, в Парголово, Вадим на лыжах, но никогда еще не жаждал так, как сегодня, первым прийти к финишу. В училище, конечно, были сильные лыжники, ну а он, Вадим Плещеев, тоже не из слабаков.

– Эй, фигура! – орет он, догоняя коренастого паренька с одной «галочкой» на рукавах бушлата. – Дорогу!

Но тот, конечно, не намерен уступить дорогу. Невежа, салажонок с первого курса. У него, Вадима, корма тоже не обросла еще ракушками, но все-таки он уже второкурсник. Вам понятно? Он уже на втором курсе лучшего в мире Военно-морского училища имени Фрунзе.

Ладно. Сойдя с лыжни, Вадим обходит салажонка и начинает подъем на пригорок. Бам-бам – хлопают лыжи по пяткам башмаков. Серое январское небо хмуро нависает над Парголовом, высыпает очередной заряд колкого снега.

Ну! Одолев подъем, Вадим втыкает палки в снег, переводит дыхание, а лес – вот он, совсем уже близко. Спуск! Пригнувшись, мчится Вадим к стене елей, чьи темно-зеленые ветви поникли от налипшего снега. Теперь – ровная лыжня вдоль лесной опушки. Набрать скорость! Вон одинокая сосна впереди – торчит, как дежурный по трассе, – по дороге к ней непременно обогнать еще двоих! Черт знает, зачем ему это нужно... такое напряжение сил, что сердце стучит у горла... как дробь барабана... Обходит одного, ну теперь – следующего...

Но следующего соперника обогнать не удастся. Весь в снежной пыли, белообрый, без шапки, соперник первым пронесется мимо одинокой сосны... Вот же работает палками, черт длинноногий... Это Валька Травников с третьего курса...

Последний круг двадцатипятикилометровой гонки. Все оставшиеся силы, весь резерв выложить – только бы не подвел, не выскочил из груди мотор, работающий на предельных оборотах... «А ну, давай, Вадим... нажми, нажми!»

Лыжня уходит в перелесок, петляет меж сосен... тут гляди в оба... не врезаться бы на повороте в эти три сосны... три сестрички мохнатые... А пот так и льет из-под шапки на глаза... сбросить бы шапку, да жалко... казенное имущество все же... хрен знает, какие дурацкие мысли лезут в голову на бегу...

Нет, не обогнать Травникова. А это что за пыхтение за спиной? Гляди-ка, первокурсник надал и обгоняет справа... «Как смеешь, салажонок лупоглазый?.. Вот я тебя!»

Но на подъеме – последнюю горку взять перед финишем – Вадиму не удастся обойти салажонка. Выдохся Вадим. Дышит бурно, со свистом. «Черт с ними, приду третьим... Третий – это тоже результат...»

Спуск к финишу! Лыжи сами несут Вадима вниз по склону. А ну, а ну!.. Травникова не обогнать, далеко ушел, но салажонку сесть на хвост... «Нажми, Вадим!..»

Эй, осторожно! Вон финиш, там полно народу, но лыжня затерта... снег раскатан, лыжи разъезжаются...

А-а-ах ты!.. Занесло...

С разбега, с разгону скользят лыжи в сторону, левая ударяется о сосну... треск!

Вадим падает, но тут же, облепленный снегом, поднимается, снимает с башмаков лыжи – сломанную и целую – и, схватив их и палки под мышку, бежит к финишу.

Главное – пересечь финишную черту! Разве не так?

И он пересекает ее бегом и, тяжело дыша, валится в хрупкий снег на обочине. Слышит: ему хлопают в ладоши. Капитан, училищный руководитель физподготовки, направляется к нему, озабоченно улыбаясь.

С Валентином Травниковым Вадим познакомился год назад, еще когда на первом курсе учился. Он вечером сидел в комнате для самоподготовки, вгрызаясь в «Краткий курс» – готовился к зачету по основам марксизма-ленинизма. Рядом сидел за столом Паша Лысенков, однокурсник, но, похоже, он уже дремал, подперев щеку кулаком. Паша был «науконеустойчив», его на лекциях клонило в сон. И что интересно, при этом он не переставал писать в тетради. Вадим однажды заглянул в его тетрадку: неужели Паша, задремав, продолжал конспектировать лекцию? Нет, чудес не бывает, Паша не лекцию записывал, а беспрерывно расписывался. Надо же, спал, а рука автоматически двигалась, ставила подпись. Чудо не чудо, но все же достойно удивления.

Итак, сидели они в комнате самоподготовки, Паша клевал носом, а Вадим как раз добрался до Пражской конференции, и тут вошли несколько курсантов-второкурсников, громко переговариваясь. Двое остановились в проходе между столами.

– Гляди-ка, – заметил один, – у этого салажонка шишка на голове.

Вадим вскинул взгляд на сказавшего это черноглазого курсанта с тонкой полоской черных усов над усмешливым ртом.

– Да, – хохотнул второй, долговязый малый с аккуратным белокурым зачесом. – Как у алжирского дея.

– У алжирского дея, – сухо сказал Вадим, – шишка была не на голове, а под носом.

– Ух ты! – удивился белобрысый. – Грамотный курсант пошел, классику читает.

Шишка, и верно, была у Вадима на голове, над затылком, и довольно большая – как циферблат часов «Павел Буре», доставшихся ему после смерти деда Ивана Теодоровича. Мама, обеспокоенная, таскала Вадима к врачам, но те утверждали, что шишка не опасна, только не надо ее трогать. Обычно она была скрыта шевелюрой, но теперь-то, при поступлении в училище, Вадима постригли. Оська Виленский, как увидел его стриженного, сразу стал дразнить: «Гололобая башка, дай кусочек пирожка!» Он-то, Оська, как скрипичный вундеркинд, поступил в консерваторию. А там не стригли.

Валентин Травников – это он удивился, что «грамотный курсант пошел», – вскоре присмотрелся к Вадиму не по поводу шишки на голове, а по спортивному вопросу.

В училище волейбол был любимым видом спорта. Вот Травников, игравший в сборной команде училища, однажды посмотрел, как играют первокурсники – класс с классом, – и после матча подошел к Вадиму.

– Как твоя фамилия?

– Плещеев, – сказал Вадим, разгоряченный игрой.

– Ух ты, громкая какая фамилия! – сказал Травников. – У тебя прыжок невысокий, но удар ничего. Подача получается.

– Я стараюсь, – кивнул Вадим. – Если у тебя все, я схожу в душевую.

– Иди, иди, Плещеев. Мочалку не забудь.

Они и потом встречались иногда в коридорах, обменивались подначками, как было принято в училище, но в начале второго семестра Травников сделал Вадиму серьезное предложение:

– Слушай, Плещей бессмертный. Предстоят межучилищные соревнования, а Жорка Горгадзе заболел. Давай-ка мы тебя попробуем как запасного. А?

Войти в волейбольную сборную училища – это, знаете, не кружку компота из сухофруктов выпить. Но для порядку Вадим поломался немного:

- У нас кораблевождение много времени занимает.
 - Тренировки начинаются в двадцать ноль-ноль, – сказал Травников.
 - Ты флажным семафором сколько знаков в минуту передаешь?
- Но Травников и этот вопрос пропустил мимо ушей.

– Значит, если завтра в двадцать ноль-ноль не придешь, то махай флажками и дальше.

Конечно, Вадим в назначенный час пришел в спортзал. У него, и верно, подача была крепкая, мяч пролетал низко над сеткой и «падал стремительным домкратом», как определил Травников, знаток Ильфа и Петрова. Топил Вадим не так чтобы очень, но – принимал «гиблые» мячи и накидывал для топки неплохо. Вскоре он утвердился в списке сборной и стал играть в матчах. Он высоко накидывал мяч Травникову, и тот, прыгучий, как дикий кот, топил с ирокезским выкриком. Если же Вадим подавал ему мяч неудачно, Травников кричал: «Ах ты, япона мать!»

Кстати, о начитанности. Валя Травников обожал Зоценко и Ильфа-Петрова, а кроме этих, и верно, замечательных писателей, читал только морские книги.

– Мне, – говорил он, – «Танкер „Дербент“» интересней, чем «Анна Каренина».

– Да ты что, Валька? – удивился Вадим. – Разве про любовь неинтересно?

– Про несчастную любовь – да, неинтересно. А про счастливую никто не пишет. И давай сменим тему. Ты «Морского волка» Джека Лондона читал?

– Читал.

– Как называлась шхуна Волка Ларсена?

– Кажется, «Призрак».

– Не кажется, а точно. А корабль Грэя из «Алых парусов»?

– Ну это все знают. «Секрет».

– Ладно. – Травников подумал несколько секунд, покусывая большой палец. – Ты говорил, что читал Джозефа Конрада. Как назывался пароход в романе «Лорд Джим»? Который потонул с паломниками на борту?

Теперь Вадим задумался. «Вот же черт длинноногий, обязательно ему нужно меня к стенке припереть...»

– Не помню, – сердито сказал он. – Я не обязан помнить потонувшие пароходы.

– Ты же в моряки записался, значит должен помнить. – В светло-зеленых глазах Травникова плескалось насмешливое выражение. – А какой корабль привез Миклухо-Маклая на Новую Гвинею и какой оттуда вывез – хоть это ты знаешь?

– Привез корвет «Витязь», а вывез клипер «Изумруд».

– Ладно. Ну иди, учись кораблевождению. Пока.

Легкой походкой Травников направился к выходу из спортзала.

– Валя! – окликнул Вадим. – Так как назывался потонувший пароход у Конрада?

– «Патна»! – крикнул Травников и скрылся за дверью.

Однажды Вадим спросил, откуда он родом, из приморского города, наверное?

– Нет, – сказал Травников, – я сухопутный человек. Из Губахи. Ты, конечно, знаешь, где находится этот населенный пункт. Не знаешь? – притворно удивился он. – А я-то думал, ты в географии разбираешься.

– Ах да, вспомнил: Губаха – столица княжества Лихтенштейн.

– Во, правильно! – Травников усмехнулся. – Там князя так и зовут: Губаха-парень.

По обыкновению, они потравили немного, а потом Травников все же, коротко, в отрывистой манере, рассказал о себе.

– Я родился в Губахе, городке в Пермской губернии, – там жил мамин отец, лесопромышленник – бывший, конечно, – папа у него работал на сплаве – сила неимоверная, бревна

ворочал, – влюбился в дочку лесопромышленника, а она в него, – раньше умели любить – не то что твоя Анна Каренина...

– Она тоже умела, – заметил Вадим.

– Поженились, и две дочки у них родились – было бы больше, но тут мировая война – папа воевал на турецком фронте – тяжело ранен при взятии Эрзерума – выжил – Гражданская началась – пошел в Красную армию – под Астраханью опять ранило – вернулся в Губаху – апрель девятнадцатого – как раз Колчака погнали за Каму – в Губахе черт ногу сломит – папа с недолеченной раной пошел дальше воевать – тут и я вскоре появился – с твоего разрешения...

– У меня, – сказал Вадим, – нет никаких возражений. А почему ты, сухопутный шпак, вдруг пошел в моряки?

– Ты, конечно, знаешь, что Губаха стоит на реке Косьва? – Травников с отрывистой речи перешел на обычный язык. – По Косье все лето бревна плыли. Молевой сплав, понятно? Мы, пацаны губахинские, ныряли под плывущие бревна. Такая была игра. Я однажды нырнул, а выплыть – не могу. Сплошные бревна над головой. Задыхаюсь уже, нечем же дышать. Ногти рву о бревна снизу...

Травников умолк, выгасил пачку «Беломора», закурил.

– А дальше? – спросил Вадим, тоже закурив.

– Раздвинул бревна. В последнюю секунду. Такое страшное усилие пришлось... В общем, всплыл. – Травников помолчал, а потом, усмехнувшись, закончил: – И решил: раз вода меня не берет, значит пойду в моряки.

Можно было подумать, что он, с его склонностью к морской травле, сочинил историю с плывущими над головой бревнами, но Вадим видел или, скорее, чувствовал, что Валя не врет. Были, были эти бревна на реке Косье.

А в тридцать втором году отца Травникова, воевавшего в туркестанских песках с басмачами и дослужившегося там до высоких чинов, отозвали в Москву на крупную работу в профсоюзах. В Москве и протекала дальнейшая молодая жизнь Вали Травникова. Он в отца пошел: и ростом вымахал, и силушка такая же в нем зыгрывала, и убежденностью в правильном ходе государственной жизни был он схож с отцом. Вот только чертами лица не в папу пошел, с его башкирской внешностью, а в маму, златокудрую купеческую дочку, – та же прозрачная зелень проросла в его глазах, что и у нее.

Сестры устраивали свою жизнь по технической части: старшая училась в Бауманском институте (и замуж там пошла за доцента в области сопротивления материалов), а младшая вовсе даже поступила в МАИ. «Надо бы и тебе, Валентин, по авиации пойти, – говорил папа Ефим Травников. – Гляди, какие перелеты. Стране самолеты нужны». «Да-да, – кивала мама Анастасия Леонтьевна, – определиться надо, Валечка, в десятом классе уже, а ты все бегаешь-прыгаешь».

Валя, и верно, очень спортом увлекался, но на первом-то месте было у него морское дело, питаемое чтением книг о море, греблей по Москве-реке и интересом к звездному небу в планетарии. К окончанию десятилетки он уже вполне определился – и поехал в Ленинград поступать в Военно-морское училище имени Фрунзе.

31 декабря курсант Вадим Плещеев получил увольнение до девяти часов утра 1 января 1941 года. Это была удача! Учитывалось, конечно, что Вадим ленинградец и что курсант он – по учебной части и по дисциплине – исправный.

Часу в восьмом вечера, быстро пробежав короткий путь с 8-й линии Васильевского острова, где находилось училище, до 4-й, Вадим взлетел на третий этаж родного дома.

– Димка! – Вера Ивановна повисла у него на шее. – Какая приятная неожиданность! У тебя увольнение до утра?

– Ага. Дайка-ка сниму мокрую шинель. Ну как ты, мам?

Он, улыбаясь, всмотрелся в Веру Ивановну. Уже, конечно, не девичья тонкая фигурка, все же под сорок лет, не шутка. Черные волосы, гладко обтекающие голову, тронуты сединой, а челочка, закрывающая лоб, совсем поседела. Но глаза – по-прежнему сумасшедшей голубизны.

– Димка, ты голодный?

– Нет, только что поужинал.

– Вас хорошо кормят? Вот, съешь яблоко. Ты хочешь переодеться? Не надо, тебе идет морская форма. – Вера Ивановна прямо-таки излучала радость, редкую в ее нынешней одинокой жизни. – Мальвина принесет торт, я-то не мастерица печь, а она умеет. И Елизавета придет, тоже принесет что-то. А у меня вино хорошее, кагор, и салат приготовлю, вот и встретим Новый год как полагается. И ты с нами, тремя старыми бабами, да, сыночек?

– Я с вами посижу, конечно, – сказал Вадим, хрустя яблоком. – Но вообще-то, у Виленских встречу. У Оськи и Райки, ты же знаешь, тридцать первого день рождения.

– Да-да, помню. Я сегодня с Розалией говорила, поздравила. У нее после смерти Михал Лазаревича один свет в окошке – Ося. Кажется, он станет большим музыкантом.

– Может, и станет. Если струны не порвет.

– С чего это он порвет? – удивилась Вера Ивановна.

– Слишком сильно бьет смычком.

– Глупости какие... Дима, знаешь, отец сегодня звонил. Поздравил с Новым годом и спрашивает: а как там наш гардемарин? Ты бы позвонил отцу хоть разочек.

– Мне не о чем с ним говорить.

– Ох, Дима... упрямый, непреклонный... У него новая книга вышла. Вернее, старая – «Люди Арктики», которая застряла три года назад. Из-за того, что он вывел героем этого, ну, главного полярника, которого посадили...

– Самойлбвича.

– Да, верно. Отец говорит, ему пришлось всю книгу перелопатить.

– Я рад за него, – сухо сказал Вадим. – А вот что бы Оське подарить? И Райке?

Он, конечно, знал, что отец поддерживает отношения, звонит маме и, кажется, помогает материально (хотя мать об этом никогда не говорила). Знал, что, недолго прожив с поэтессой Семенихиной, отец женился на сотруднице, журналистке Галине Варганян, и что у них родилась дочка Люся. Нет. Вадим не укорял мать в том, что она окончательно не оборвала отношения с отцом. Пусть общаются, но – без его, Вадима, участия. Он вышвырнул этого человека из своей жизни. Предательство не может быть прощено.

Но, по правде, каждый раз, как мать передает от него приветы или просто рассказывает о нем, о его книгах, Вадиму бывает не по себе. Горечь подступает к горлу, и всплывают сами собой воспоминания, непрошенные, ненужные...

– У меня неначатый флакон одеколona, возьми и подари Раечке.

– Спасибо, мама!

А Оське что подарить?

А, вот что: треуголку Ньясы. Оська с ума сойдет от радости, он ведь давно положил на нее глаз. Вадим полистал альбом с марками. Вот африканские листы, вот зеленая треуголка Ньясы. Жираф, вытянув шею, лакомится ветками пальмы. Рядом еще одна треуголка, с портретом Васко да Гамы. Ну уж дудки, да Гаму он не отдаст. Жирафа тоже, конечно, жалко, такая красивая марка, украшение коллекции... Ладно, прощай, жираф.

Да, но одной марки для подарка маловато. Может, отдать еще эту – Либерию, на ней тоже пальмы. Или вот эти три – Французская Западная Африка, Дагомея – негр, забирающийся на кокосовую пальму. Что ж, хороший подарок – любой филателист облизнется.

Вадим положил марки в коробочку из-под каких-то пилюль и завернул в газету – получился довольно объемистый пакет, намекающий на крупный подарок. Затем уселся за старин-

ный письменный стол покойного деда, закурил и принялся сочинять стихотворное послание, придерживаясь излюбленного размера – гекзаметра.

Веселая хорошая работа увлекла его. Не сразу он услышал голоса в соседней комнате. Вера Ивановна заглянула в кабинет:

– Ой, как ты накурил, Димка! Уже гости пришли. Выходи. Будем провожать старый год.

Гости были скорее гостьями: Мальвина, мамина многолетняя сотрудница по библиотеке, с библейски красивым лицом и плосковатой фигурой, хроменькая после перенесенного в детстве полиомиелита, и Елизавета Юрьевна. Эта маленькая ростом миловидная блондинка около года назад появилась в квартире – обменяла свою комнату на Охте на комнату между кухней и Покатиловыми.

«Никогда бы с Охты не ушла, – рассказывала она, – если б на работу ездить не приходилось так далеко». Работала Елизавета в больнице операционной медсестрой и от специфики этой работы, а может, от природы характер имела решительный. «Которые хамят, я таких не люблю, – говорила она. – Чего вы тут Покатиловым поддакиваете?» Она-то не поддакивала. Клавдию Поликарповну, грубиянку крикливую, осадил резкими словами и, между прочим, потребовала, чтобы та в кухне освободила место для ее, Елизаветы, столика. А Покатилову, когда он, пьяный, обматерил ее, что в уборной долго сидит, Елизавета такое наговорила, что тот, заметно трезвея, молча прошагал в свою комнату и сильно хлопнул дверью.

– А-а, моряк красивый сам собою, – заулыбалась Елизавета Вадиму. – Поработай вот, открой консервы.

Она тут была главнокомандующим. Маленькая, коротко стриженная, в желто-полосатом платье с широким белым воротником, Елизавета руководила подготовкой к пиршеству. Вадим взял консервный нож, вспорол две банки «чатки» – тихоокеанского краба, недавно появившегося в продаже.

– «Всем попробовать пора бы, как вкусны и нежны крабы», – процитировал он известную рекламу.

– Молодец, – сказала Елизавета. – Теперь лук порежь. А то Мальвина все глаза выплала.

– Ой, он такой едучий... – Мальвина промокнула глаза платочком. – Верочка, а лопатка для торта у тебя есть? Ну да, я помню, имелась лопаточка... Какой у нас стол хороший... Не хуже, чем в «Большом вальсе». Помните? У Штрауса, когда к нему пришел этот... издатель нот...

Стол, и верно, получился что надо. Среди блюд с салатами высились бутылка кагора и графин с зеленоватой настойкой, сделанной умелой женщиной Елизаветой Юрьевой.

Она же и провозгласила первый тост:

– Уходящий сороковой начался плохо, война шла рядом с нами, в Питере все больницы забиты ранеными с линии Маннергейма, сколько побил людей – ужасное дело. А кончается год хорошо. Войны нет. Там где-то идет, в Европе, а у нас тихо. Вот и выпьем, чтобы наступающий год был такой же тихий. Чтоб люди спокойно жили, так?

Кто ж за это не выпьет – за *спокойную жизнь*? Даже Вера Ивановна, непьющая, осушила бокал кагора. Ее бледные щеки порозовели. Она Вадиму положила горку салата на тарелку: «Ешь, Димка, ешь, ты такой худой...» И ввязалась в спор с Мальвиной, тоже очень оживленной от выпитого вина.

– ...Конечно, красивая она, Милица Корьюс, – говорила Мальвина, щуря свои миндалевидные глаза, – но все равно самая прекрасная – Франческа Гааль! Вспомните, девочки, – «Петер»!

– Ну и что? – спорила Вера Ивановна. – Только и есть у твоей Франчески что приятная мордашка.

Вадим поедал салат, крабов тоже не забывал. В голове у него слегка шумело от крепкой настойки, и острый ее дух держался в ноздрях. «Большой вальс»! Ну еще бы, как прошлым летом прокрутили его в Питере, так все и обалдели. Такая картина! Вроде бы там революция 1848 года происходит – но разве это революция? Катят они, Штраус и Карла Доннер, в коляске по Венскому лесу и на ходу сочиняют вальс... такая красота... почтовая карета им трубит музыкальную фразу... и топот лошадиных копыт... Не революция у них, а сплошной нэп.

Сам же и засмеялся Вадим от этой странной мысли.

– Чего ты смеешься? – сказала Елизавета. – А давайте выпьем за Вадима! За будущего моряка!

Хлебнув настойки, Елизавета пустилась рассказывать, как прошлой зимой была потрясена, когда увидела первого раненого, привезенного с финской войны.

– Ранение грудной клетки. Молодой-молодой, ну мальчик, лежит почти без пульса, вот такая осколочная рана у соска, и через нее воздух со свистом входит и выходит. Никогда этот свист не забуду! – Елизавета, зажмурясь, помотала головой. – И при каждом вздохе струйка крови фонтаном... Открытый пневмоторакс... Ужасно...

– Выжил он? – спросил Вадим.

– Нет. Слишком большая кровопотеря... Ой, насмотрелась я. Столько операций. Мы многих спасли, у нас хирурги замечательные... Ну, давайте еще – чтоб не гибли наши мальчики на войне...

Вадим посмотрел на «Павла Буре», исправно отсчитывающего последние часы сорокового года. Шел уже одиннадцатый час. «Может, не идти к Оське встречать Новый год? Уж очень я расслабился...»

– Я так скажу, – звучал низкий голос Елизаветы, – в нашем деле главное – новокаиновая блокада и мазь Вишневского...

«Нет, надо пойти, Оська и Райка обидятся, день же рождения у них».

Вадим простился, пожелал женщинам счастливого Нового года. И спустился на второй этаж.

Оська, очень нарядный, в черном бостоновом костюме, при черном же галстуке, отворил дверь и гаркнул:

– Ага, появился, гроза морей! Свистать всех наверх!

Вадим вручил ему пакет с подарком и вошел в большую комнату квартиры Виленских. Тут за накрытым столом сидели седоголовая Розалия Абрамовна в клетчатом жакете и Райка в темно-зеленом платье с рукавами, обшитыми рюшами. И еще сидела за столом незнакомая дева – от ее улыбки у Вадима сердце подпрыгнуло к горлу.

Он вручил Райке одеколон, подарок был благосклонно принят. А Оська, развернув газету и добравшись до марок, восторженно завопил:

– Ньяса с жирафой! Ура!

– С жирафом, – поправил Вадим. – Он самец.

Райка представила подругу:

– Это Маша, моя однокурсница. Маш, это Вадим Плещеев, наш сосед. – И добавила со смехом: – Помещик двадцати двух лет.

– Очень приятно, товарищ сосед, – сказала Маша, протянув Вадиму крупную белую руку.

Непонятно, что вдруг ударило Вадиму в голову – может, электрический разряд? Он нагнулся и поцеловал протянутую руку. Маша отдернула ее:

– Что вы делаете?!

– Извиняюсь, – пробормотал Вадим. – Я не нарочно...

– Он не нарочно! – вскричал Оська. – Он – случайно! Ха-а-а-ха-ха-а...

– Ося, угомонись, – сказала Розалия Абрамовна. – Дима, садись. Раечка, налей ему вина. И холодец положи. Сто лет не делала холодец, а сегодня сделала, – кажется, получился. Ты что-то похудел, Дима. Вас в училище плохо кормят?

– Нет, кормят хорошо. – Вадим сел между Раей и Машей. – Спасибо, Райка. – Поднял бокал, наполненный красным вином. – Розалия Абрамовна, лучше всего у вас получились близнецы, – сказал он. – Поздравляю вас.

– Спасибо. – Розалия Абрамовна, чье крупное лицо с черными бровями домиком хранило печальное выражение с того далекого уже дня, когда профессора Виленского свалил паралич, улыбнулась. – Ты правильно сказал, Дима. Между прочим, я и к твоему появлению на свет имела некоторое отношение.

– Тут у тебя получилось гораздо хуже, чем с нами, – заявил Оська и опять залился смехом, похожим на лай.

Перед Машей он выпендривается, подумал Вадим. Парадный костюм нацепил. Может, для него и пригласила Райка свою подружку?

Он искоса посмотрел на Машу. Что тут скажешь, настоящая красотка, почти как Любовь Орлова. Только волосы темнее – два пышных русых крыла ниспадают на щеки, оставляя открытым треугольник белого лба. Маленький нос будто по линейке выточен. А губы!..

– Я в архивах копался, – сказал Вадим, – и нашел старинное стихотворение. Можно, я прочту?

Ты, крутовойный Иосиф, искусно на скрипке играешь,
Длинным смычком из нее извлекаешь различные звуки,
Оными слух окружающих граждан желая насытить,
Дерзко пытаясь сравняться с самим Аполлоном великим,
Непревзойденным в игре на кифаре и в играх любовных.
Знай же, Иосиф, игрок крутовойный, что счастье
Вовсе не в том, чтоб терзать терпеливые струны,
Длинным смычком беспрерывно по ним ударяя, —
Счастье не в том. Ну а в чем оно, собственно, счастье, —
Определить не берусь. Но скажу тебе, друг мой,
Что себя ощущаю счастливым я в те лишь минуты,
Когда скрипка твоя громкозвучная вдруг умолкает.

Смех раздался за столом.

– Прямо новый Гомер, – смеялась Маша.

– Вадька, – закричал Оська, – склоняю перед тобой крутую выю! Райка, положи ему еще холодца!

– Слышала? – сказал ей Вадим. – А то ты сама ешь, а другим не даешь.

– Трепись! – сказала Райка, накладывая ему холодец на тарелку. – За тобой не поспеешь. Ты обжора. Жеривол и Курояд.

– Кто я? – не понял Вадим.

А Маша, смеясь, пояснила:

– Раечка курсовую работу писала о Феофане Прокоповиче. У Феофана была комедия «Владимир» – он высмеивал жрецов-язычников, с которыми вел борьбу князь Владимир. Вот этих жрецов, обжор и развратников, Феофан так назвал: Курояд, то есть пожиратель кур, Жеривол...

– Пияр, – добавила Райка, – то есть выпивоха. Дело в том, что Феофан Прокопович был сторонником Петра и в своей комедии отразил борьбу Петра с реакционным духовенством...

Тут из радиоприемника – лакированного ящика, стоявшего на комод, – раздался неторопливый державный звон кремлевских курантов. После двенадцатого удара грянул «Интернационал».

– Ну вот и сорок первый! – возгласил Оська. – Привет, сорок первый! С Новым годом!

– Как хочется, чтобы год был спокойный, – сказала Розалия Абрамовна. – Будьте здоровы и счастливы, мои дорогие.

Выпили вина за неведомый сорок первый. Оська завел патефон. Вступил чистый голос Шульженко: «Нет, не глаза твои я вспомню в час разлуки... Не голос твой услышу в тишине...»

– Всем танцевать! – объявил Оська и пригласил Машу.

«Я вспомню ласковые, трепетные руки, и о тебе они напомнят мне...»

Они хорошо танцевали. Оська, подобрав толстую нижнюю губу, держался прямо, голову вдохновенно откинул назад. Вот только был он ниже Маши почти на полголовы. А она, крупная, красивая, в облегающем синем платье с белым бантом на груди, кружилась, смеясь, под поднятой Оськиной рукой.

«Руки! Вы словно две большие птицы! Как вы летали, как оживляли все вокруг...»

– Пойдем. – Райка потянула Вадима танцевать. – Оторвись наконец от еды, Курояд.

«Руки! Как вы могли легко обвиться и все печали снимали вдруг...»

Девочку Раю, капризную и своенравную, Вадим помнил столько же, сколько помнил себя. Вот рядом, под подбородком, покачивается ее каштаново-кудрявая голова. Ее глаза, не то синие, не то темно-серые, то и дело меняют выражение – сердитое, ласковое, возмущенное, а то и вовсе отсутствующее, – странные глаза. Это она – Райка, привычная, как Оськина скрипка. И в то же время – уже не тархтелка-толстушка, как в детстве. Талия, перетянутая серебряным поясом, уже, можно сказать, женская. На повороте Вадим, как бы невзначай, прижал к себе Райку, ощутив ее упругую грудь. Райка вскинула на него взгляд не то негодующий, не то вопрошающий. Она была *другая*, вот что...

– Ты наступил мне на туфли, – сказала она.

– Извини. Я же плохо танцую... А эта твоя Маша, – спросил он, – всегда смеется, да?

– С чего ты взял? Она очень серьезная. Она у нас группкомсорг.

– Давно с ней дружишь?

– Недавно. Мы с ней прошлой зимой, когда финская война шла, вместе сдавали донорскую кровь. Для раненых.

– Кровная дружба, значит. Она ленинградка или...

– Ой, опять наступил! Медведь косолапый... Маша в Кронштадте живет. А тут – в общезитии на Добролюбова. Оська, поставь «Утомленное солнце».

Оська сменил пластинку. Мужской голос, исполненный неизбывной печали, повел:

Утомленное солнце
Нежно с морем прощалось.
В этот час ты призналась,
Что нет любви...

– Солнце не может быть утомленным, – сказал Вадим. – Оно просто горит.

– Это у тебя все просто, – сказала Рая.

Мне немного взгрустнулось —
Без тоски, без печали
В этот час прозвучали
Слова твои...

Оська вдруг спохватился:

– Чуть не забыл! – Метнулся к телефону, набрал номер, закричал в трубку: – Зайчик, это ты? С Новым годом! Что? Зайчик, не надо ругаться. Пиф-паф!

В том январе объявили в училище культпоход в театр имени Пушкина (его по-прежнему называли Александринкой) на спектакль «Мать» по пьесе Карела Чапека. И Вадим вот что надумал: пригласить Машу. Он, конечно, понимал странность, даже неловкость такого поступка: с Машей он едва знаком, не его это девушка, и вряд ли она примет приглашение. Да и как до нее добраться? Можно, конечно, дозвониться до университетского общежития на Добролюбова, но студентку к телефону не позовут. Ладно хоть, что он узнал от Райки ее, Маши, фамилию: Редкозубова.

Тут надо пояснить немаловажное обстоятельство: Вадим в эту Машу Редкозубову влюбился. В отца своего, Льва Плещеева, он, что ли, пошел по склонности к прекрасному полу? Трудно сказать. Однако когда преподаватель штурманского дела крикнул: «Курсант Плещеев! Вы что, ворон считаете?» – Вадим спохватился, что не услышал вызова к доске. Надо же, загляделся в окно, в котором рисовалась его воображению женская головка... два крыла русских волос... бело-розовый овал лица... светло-карие глаза широко расставлены, и один, кажется, правый, имеет золотистое пятнышко... и такие губы, такие губы, открытые в улыбке...

Томился Вадим Плещеев, вы понимаете?

И когда день культпохода приблизился, он, движимый томлением, решил на странный поступок. В тот субботний вечер, когда было разрешено увольнение, сильно мело. До угла, до Невы еще ничего, а когда близ памятника Крузенштерну Вадим повернул на Университетскую набережную, на него накинута, с древним каким-то воем, белая от бешенства метель. Ложась на метель грудью, Вадим, полуослепший, облепленный снегом, ломился, как «Фрам» через льды Арктики (такое сравнение вдруг влетело в голову).

На стрелке Васильевского острова метель бесновалась вовсю. Как бы не снесла роstralные колонны. Мост Строителей Вадим одолел чуть не ползком, давлением тела прорубая проход в сугробах.

Ну вот оно, университетское общежитие, на углу проспекта Добролюбова – крепкий утес среди стихий. Вадим, тяжело дыша, вошел, в тамбуре сбил с шапки нарост снега, отряхнул шинель. В вестибюле на него уставилась пожилая дежурная в больших очках:

– Вы к кому, товарищ моряк?

– К Редкозубовой. Она на втором курсе филфака...

– В какой комнате?

– Не знаю, – сказал Вадим.

Дежурная осуждающе покачала головой:

– Приходите к человеку, а не знаете, в какой он комнате.

– Так я пойду поищу.

– Долго искать придется. Пять с половиной этажей.

– Ничего. – Вадим насупился, приготовился преодолевать возникшее препятствие. – Я найду.

– Подожди, – перешла дежурная на «ты». – Света! – окликнула она мелкозавитую коротышку, пересекавшую вестибюль с чайником в руке. – Ты такую студентку знаешь – Редкозубову?

– Редкозубову, – сердито поправил Вадим.

– А кто ее не знает! – пропищала Света, любопытным взглядом окинув Вадима.

– В какой она комнате?

– В сто тридцать второй.

– Ну, это пятый с половиной этаж, – уточнила дежурная. – Иди, моряк. Посещение до двадцати трех часов. Позже нельзя.

Вадим поднимался по лестнице, по которой шмыгали вверх-вниз парни и девушки, смеясь и перекликаясь. Говорили они, само собой, по-русски, но смысла их перекличек Вадим не улавливал – словно были они из какой-то другой жизни. Последние пол-этажа он одолел, здорово запыхавшись. Пошел по темноватому коридору, глядя на номера комнат, и тут из 132-й вышла Маша Редкозубова, а за ней – ушастый очкарик в желто-синей ковбойке и штанах, видимо никогда не знавших утюга.

– Здравствуйте, Маша, – сказал Вадим, бурно дыша.

Она всмотрелась в него, слегка прищурясь:

– А-а, Раечкин сосед! Как ты сюда попал?

Она, одетая в простенькую серую кофту и черную юбку, показалась Вадиму ниже ростом, чем в новогодний вечер.

– Я к тебе пришел.

– Военно-морской флот перешел в наступление. – Она коротко рассмеялась. – Юрик, – обратилась к очкарику, – ты иди к Семену, а я подойду попозже.

– Ладно, – сказал тот ломким голосом. – Только не задерживайся.

– Как тебя правильно зовут – Дима или Вадя? – спросила Маша.

– Как хочешь, так и зови.

– Хорошо, пусть будет Вадя. Ну, зайди.

Она ввела Вадима в комнату. Тут были четыре кровати, на одной лежала и читала книгу смуглая брюнетка в лиловом халате. При появлении Вадима она села, запахнув халат и сунув босые ноги в остроносые тапки.

– Лежи, Тамила, лежи, – сказала Маша.

– Чего я буду лежать, когда мужчина пришел? – Брюнетка взяла со стола чайник. – Схожу за чаем.

Она вышла, шлепая тапками.

– Сними шинель, Вадя. Почему у тебя такая красная физиономия?

– Так метель же. Здорово метет.

– Я по субботам домой уезжаю, в Кронштадт, а сегодня из-за метели осталась. Садись, Вадя. Зачем ты пришел?

– У нас двадцать четвертого культпоход в Александринку. На «Мать» Чапека. Вот я хочу тебя пригласить.

– Спасибо. – Маша обеими руками расправила волны своих волос. – Только я не смогу.

– Почему?

– Двадцать четвертого у нас заседание эс-эн-о.

– Что это?

– Студенческое научное общество.

– Ну, пропусти. Это же не обязательно?

– Не обязательно, но... – Маша запнулась.

– Понятно, – кивнул Вадим. – Юрик не велит.

– Причем тут Юрик?

– При том, что у него уши торчком.

– Ну знаешь! У него уши, а у тебя... у тебя прическа как гречневая каша!

Несколько секунд они сердито смотрели друг на друга. И – враз рассмеялись.

– Юрик – будущий ученый, – сказала Маша. – Его реферат о маленьком человеке в русской классике – просто сенсация. Юрика хвалил сам профессор Эйхенбаум.

– Я сразу заметил, что он молодец. А почему ты послала его к Семену?

– Вот еще! Ты какой-то настырный, Вадя. Семен и Юрик – члены комсомольского комитета на филфаке. Мы составляем план культмассовой работы на полугодие...

– Маша, культпоход в Александринку просто украсит ваш план.

– Серьезно? – засмеялась она. А потом, разом согнав улыбку с лица: – А что это за пьеса Чапека – «Мать»?

Курсантов привез училищный автобус. Вадим остался у входа в театр, ожидая Машу. Сыпался с темного неба несильный снег. Вадим ходил между колонн, курил, а стрелки на его «Павле Буре», приближались к семи. Неужели не придет? – думал он с нарастающим беспокойством.

Маша пришла без пяти семь.

– Ой, чуть не опоздала! Привет, Вадя. Ты не представляешь, какая толкучка в трамваях.

– Почему это я не представляю? – проворчал Вадим.

Уже отзвенели звонки и погас свет в красно-золотом зале, когда они, протискиваясь в тесном ряду, нашли свои места. Свет-то погас (и пошел занавес), но курсанты, заполнившие последние ряды партера, своими нахальными взглядами очень даже разглядели статную девицу в синем платье с белым бантом. Кто-то негромко, но достаточно внятно пробасил: «Вот это бабёц!» А Павел Лысенков, рядом с которым оказалось место Маши, уставился на нее, до предела раскрыв глаза, и сказал:

– Здравствуйте!

– Паша, ты смотри на сцену, – посоветовал ему Вадим.

На ярко освещенной сцене шло действие, заставившее притихнуть огромный зал Александринки. В некоей неназванной маленькой стране назревают страшные события. Рушится семья интеллигентной, еще не старой женщины. Она потеряла мужа-офицера, погибшего где-то в Африке в схватке с туземцами, и старшего сына, врача, пожертвовавшего собой ради спасения туземцев от желтой лихорадки. У Матери остались еще четыре сына. И вот погибает Иржи, летчик, при испытании самолета в высотном полете. В стране вспыхивает гражданская война: народ восстал против деспотической власти, и в этой междоусобице погибают еще два сына – близнецы Петр и Корнель, оказавшиеся в противостоящих группировках. И тут на страну нападает – «в целях установления порядка» – соседняя большая и сильная держава. По радио звучит женский голос – призывает мужчин к оружию, к отражению агрессии, это голос родины, истекающей кровью. Рвется пойти добровольцем и Тони, последний сын матери, семнадцатилетний школьник, у которого еще пальцы в чернилах. Но мать не хочет его отпускать. К ней являются умерший муж и погибшие старшие сыновья. Это не призраки, они как будто живые, и мать ведет с ними страшно, до отчаяния напряженный разговор. Да-да, она знает, что они все исполняли свой долг. Она кричит им, умершим: «Да, свой долг... У меня тоже была своя слава – это были вы. Был свой дом – это были вы. Свой долг – это были вы, вы, вы... Так объясните же мне, почему в течение всей древней, и средней, и новой истории одна только я, я – мать, я – женщина, должна платить такой ужасной ценой за ваши великие дела?!» Она кричит, заламывая руки: «...У меня ведь нет больше никого, кроме Тони... Я прошу вас, оставьте мне его! Ведь иначе мне не для чего будет жить... Неужели у меня нет никакого права на того, кому я дала жизнь? Неужели за все тысячи лет я так ничего и не заслужила? Прошу вас, дети, сделайте это для меня, для вашей выжившей из ума, замученной мамы, и скажите сами, что я не должна отдавать его... Ну, говорите же! Что вы молчите?»

А из эфира несется голос другой матери: противник из самолетов расстреливает школьников... торпедировал учебный корабль, на борту которого были кадеты морского училища, в их числе и сын этой женщины-диктора... «Ты слышишь, мама?» – спрашивает Тони... И мать срывает со стены винтовку покойного мужа и протягивает ее своему последнему сыну: «Иди!..»

Будто мощной волной окатило зал, и он ответил этому трагическому «Иди!» долгим рукоплесканием. Раз десять выходила на аплодисменты мать – актриса Рашевская. Она улыбалась сквозь слезы, кланялась, принимала цветы.

– Спасибо, Вадя, – сказала Маша, когда спускались к гардеробу. – Очень сильный спектакль.

Она вытирала платочком влажные глаза.

Вадима окликнул Травников, стоявший в очереди к гардеробщице, жестом предложил занять место перед собой. Вадим познакомил с ним Машу.

Курсанты направлялись к училищному автобусу.

– Поезжай, Вадя, – сказала Маша. – До свидания.

– Я провожу тебя – Он взглянул на часы. – Еще полно времени.

Мимо памятника Екатерине, надменно взвизгивающей с высокого пьедестала, они прошли к трамвайной остановке. Как всегда, там толпились терпеливые люди.

– Давай пойдем пешком, – предложил Вадим.

Они шли по Невскому, многолюдному и в этот поздний час. Свет витрин скользил по их лицам.

– Адмиралтейская игла опять подсвечена, – сказала Маша. – Как хорошо. Прошлой зимой, когда шла война и город был затемнен, казалось, что он вымер.

– Я все думаю об этой пьесе, – сказал Вадим. – Кажется, Чапек не дожил до тридцать девятого года, до оккупации Чехословакии. На самом деле чехи, когда немцы влезли, не оказали сопротивления.

– А что они могли сделать? Подумаешь, чехи! У Франции какая сильная армия была, и ту немцы за месяц разбили.

– У чехов армия тоже была неслабая. Но они не стали воевать. Чапековская мать не отправила последнего сына защищать свою страну.

– У Чапека нет названия страны.

– Ну, кому непонятно, что он, чешский писатель, имел в виду Чехословакию... на которую нападает Германия...

– Хорошо, что у нас подписан с Германией пакт о ненападении.

– Хорошо-то хорошо, но... странно... Кричали про фашистов, что они разбойники, а Гитлер главный бандит. И вдруг подружились... разулыбились...

– Вадя, ну это же *политика*, как ты не понимаешь?

– Пытаюсь понять. – Вадим взглянул на профиль Маши, четко освещенный витринами Дома книги. – Ладно, оставим политику. Так ты в Кронштадте родилась?

– Нет, родилась в Череповце, мама там работала, а потом, мне два года было, мы вернулись в Кронштадт. Вообще-то, мы кронштадтские, мой дед там и сейчас работает по ремонту пушек. А мой отец был матросом на линкоре. Он погиб в Гражданскую войну, при штурме Перекопа.

Так я впервые услышал о Машинном отце. Потом и фотокарточку увидел: сидит матрос с суровым лицом, с закрученными сверху усами, с раздвоенным подбородком, в бескозырке, по околышу которой – крупными буквами – «Петропавловск»; рядом стоит молоденькая улыбающаяся девица, руку положив матросу на плечо. По другую сторону от матроса – тонконогая этажерка, на ней большая ваза с декоративными цветами.

– Маму зовут Капитолина Федоровна, – сказала Маша, убирая фотоснимок в плоскую шкатулку, а шкатулку в тумбочку. – Она в морском госпитале работает.

– Ты на нее очень похожа, – говорю.

– Да, похожа. Вадя, сейчас в красном уголке начнутся танцы. Пойдем потанцуем.

– Тебе лишь бы потанцевать, – говорю.

В комнате, кроме нас, никого не было. Не упускать же такой редкий случай. Я привлек к себе Машу и стал целовать. Ее губы, сжатые сперва, раскрылись... начали отвечать на мои поцелуи. Мы сидели, прижавшись, на ее кровати, мои руки понемногу осмелели... Маша учашенно жарко дышала... я ласкал ее, целовал, целовал...

Маша вдруг резко выпрямилась, отбросила мои руки:

– Ты... ты слишком многого хочешь...

– Хочу, – выдохнул я. – Да, хочу... Люблю тебя...

Она всмотрелась в меня. В правом глазу у нее расширилось золотистое пятнышко. Волны волос омывали пылающие щеки.

– Вадим, – впервые назвала меня полным именем, – ты отвечаешь за свои слова?

– Да!

Маша опустила голову. Ее пальцы суетливо принялись застегивать пуговицы на кофточке.

– Ты мне не веришь? – спросил я.

Она посмотрела на меня, медленно улыбаясь, отведя обеими руками волосы со лба.

– Верю... как же не поверить... Постой. Хватит целоваться...

– Не хватит!

– На сегодня хватит! Ну успокойся, пожалуйста.

Маша пересела с кровати на стул. Тут в комнату вошла Тамила, шлепая остроносыми пестрыми тапками. Поставила на стол большой чайник, стрельнула в меня черными очами:

– Чего ты расселся, морячок, на кровати? Иди чай пить с вафлями.

Вот такая пошла у меня жизнь. В дни увольнений, по вечерам, в любую погоду и непогоду я мчался в общежитие на Добролюбова. Прыгая через ступеньки, взлетал на пятый (с половиной) этаж, мысленно отправляя Машиных соседок вон из комнаты. Соседки были смышленные девочки, они, многозначительно улыбаясь, уходили. Даже Тамила, ленивое дитя юга, неохотно поднималась со своей кровати, брала чайник и выходила из комнаты. Примерно через час она возвращалась, ставила чайник на стол и возглашала: «Ну, нацеловались? Идите чай пить, you, turtle-doves»¹. (Она училась на английском отделении филфака.)

Счастливым февраль! Поймите же, я действительно – впервые в жизни – был по-настоящему счастлив. Ни спорт, ни морское учение, ни собирание марок – ничто на свете не сравнимо с влюбленностью в женщину. И с ее ответным чувством, конечно. Ты просыпаешься и засыпаешь с мыслью о ней. Тебе все удается – и штурманская прокладка, и завязывание морских узлов, и быстрые переключения на приборах в кабинете артиллерийской стрельбы. Да, я счастлив. Я удачлив. Я кум королю и сват министру.

Задумывался ли я о будущем? Ну, не то чтобы задумывался – будущее словно бы мерцало, переливаясь цветными стеклышками, как в калейдоскопе. Само собой, по окончании училища мы с Машей поженимся. Или, может, раньше? Вон два курсанта последнего, четвертого курса – мичманы Кругликов и Крутиков – женились недавно, под Новый год. Им разрешили. Я видел их юных жен (кажется, они сестры), кудрявых и курносых, приходивших в училище на какой-то киносеанс. Как гордо шествовали эти мичманы под ручку с женами...

23 февраля, в День Красной армии и флота, у нас в училище был праздничный вечер. Я пригласил Машу. Мы сидели в дальнем (от президиума) конце актового зала, вполуха слушали традиционно занудный доклад начальника политотдела. Маша тихонько стала рассказывать о Гаршине – я этого писателя тогда еще не читал, а она как раз начала читать: ей Гаршина «дали» для курсовой работы. Она увлеченно говорила о рассказе «Четыре дня», а я не столько вникал в содержание слов, сколько вслушивался в музыку ее голоса и смотрел, как она слегка помахивает руками. Валька Травников, сидевший перед нами, обернулся – хотел, наверное,

¹ Голубки (англ.). (Здесь и далее – примеч. автора.)

замечание сделать, чтобы перестали разговаривать во время доклада, но, посмотрев на Машу, промолчал.

Доклад благополучно завершился, и начался концерт самодеятельности. У нас ведь и музыканты были свои, и певцы, и танцоры, а один третьекурсник свистел все, что хотите, – этот редкостный жанр назывался художественный свист.

– Какие у вас артисты! – восхитилась Маша. – А ты почему не выступаешь, Вадя?

– По причине отсутствия талантов, – говорю. – Я только в волейбол умею.

– Зато ты мастер целоваться, – шепнула она, смеясь.

– Это да! Это да! – подтвердил я, энергично кивая.

Потом начались танцы: «Хау ду ю ду-у, мистер Браун!» – вскричала радиола. Курсантов словно порыв штормового ветра подхватил, они так и кинулись в стихию фокстрота. Кружились, кружились в просторном зале синие воротники и цветные платья – приглашенных девушек было немного, все они беспрерывно танцевали, галантные курсанты строго следили, чтобы ни одна не скучала, стоя у стены.

Танцевали и мы с Машей. Вот так, обнимая ее, я готов был плыть под саксофонную истому сколь угодно долго, бесконечно далеко. Танго – это замечательно придумали – где? – в Испании? в Аргентине? – не важно – это наш, советский танец – ах, это прекрасно – и вот что еще вам скажу, я ни разу не наступил Маше на туфли.

А теперь – вальс. Танцевать вальс я не то чтобы совсем не умел, а... ну, я решил вальс пропустить. Мы остановились у окна, но только я спросил Машу, не устала ли, как к ней подошел Травников и пригласил танцевать. На меня он взглянул вопросительно, я кивнул – не возражаю, мол.

И вышел покурить. Вернувшись в зал, увидел: вальс продолжается, Валька кружит Машу и что-то говорит, а она смотрит на него и улыбается своей улыбкой... улыбкой, от которой у меня накат радости...

Вальс кончился, теперь грянула «Рио-Рита», я был готов ринуться в «Рио-Риту», но Валька, черт длинный, продолжал танцевать с Машей и все говорил ей что-то, а она улыбалась... А вот и Кругликов проплыл с юной курносой женой... А за ним Крутиков со своей юной курносой женой...

В очередной день увольнений я помчался сквозь вечерний снегопад на улицу Добролюбова. Снег был не колючий, мягко ложился на мою шапку. Как видно, оттепель начиналась. Да и весна не за горами. И вообще жизнь прекрасна и удивительна.

Маше нездоровилось в тот вечер. Она вяло ответила на мои поцелуи, уклонилась от объятий.

– Да что с тобой? – встревожился я. – Что у тебя болит?

Она помотала головой – ничего не болит, просто как-то... ну, не по себе...

– Может, по женской части? – выпытывал я. – Тогда тебе надо к Райкиной маме, она хороший врач.

– Сиди спокойно, Вадя. Не надо мне к ее маме. Пройдет.

Я уже знал, что у Маши и Райки испортились отношения. И понимал почему. На прошлой неделе я, перед тем как отправиться на Добролюбова, заскочил на полчаса домой, к маме. «Ой, Димка, – сказала мама, обняв меня, – наконец-то появился! Что случилось? Вас что, не пускают в увольнения?» Я вякнул что-то о большой учебной нагрузке. «Нет, Дима, нет. – Мама пристально глядела на меня. – На днях я видела Раю, тут на лестнице, мы поговорили, она сказала между прочим: „А ваш Дима загулял с моей подругой“. Что у тебя происходит, сын?»

А что происходит? Уже произошло: влюбился. Так и сказал я маме. Она понимающе покивала.

«Пройдет», – сказала Маша.

Но не прошло...

И в следующие вечера наших встреч она была как-то задумчива и непонятна. Ее тревожило нападение Германии на Югославию. Это действительно была *неприятная* новость, никто ей не обрадовался, хоть у нас и подписан с Гитлером пакт о дружбе. Немцы прямо-таки утюжили танками Европу. Но поскольку это нас впрямую не касалось...

И вообще, я полагал, что не столько германское вторжение в Югославию волновало Машу, сколько Гаршин. Она влюбилась в этого писателя с несчастливой судьбой. В ее глазах блестели слезы, когда она говорила мне о его нервных припадках, о его гибели (Гаршин бросился с четвертого этажа в пролет лестницы). «Его рассказы наполнены такой болью, что страшно читать, – говорила Маша. – Его мучила несправедливость... он будто сознавал ответственность за все зло... такая совесть... ты понимаешь?»

Как не понять? Она, повышенная совесть, сквозь всю русскую литературу девятнадцатого века проходит, можно сказать, отличительной чертой.

Вот только я не понимал, что с Машей происходило.

Был на редкость тихий вечер апреля. Медленные, подсвеченные закатным солнцем, плыли в небе облака. Медленно плыли по Неве крупные обломки ледового покрова, взломанного весной. Я шел по набережной, вдыхая легкий весенний воздух и глядя на ледоход. Вон на бугристой льдине плывет чайка – села отдохнуть и плывет себе прямехонько в Финский залив. Неплохо устроилась!

По мосту Строителей навстречу катили велосипедисты с номерами, нашитыми на спины синих футболок. Я прижался к перилам, пропуская их, и крикнул:

– У вас что, гонки?

Но они не удостоили меня ответом. Знай себе крутили, крутили педали.

В комнате № 132 за столом сидели Тамила, в лиловом своем халате, и одна из соседок, толстенная Катюша, они разглядывали какие-то фотокарточки. Я поздоровался.

– Привет, – сказала Тамила. – А Маши нет.

– Это я вижу. А где она?

– Уехала.

– Куда? В Кронштадт?

– Да, кажется, туда. Посмотри, какие интересные карточки прислал Катюше жених из Нарьян-Мара.

– Ну уж, жених! – хихикнула Катюша. – Учились в одном классе...

Я буркнул: «До свидания» – и вышел. Что же это Маша не предупредила меня, что уедет в субботу в Кронштадт?..

– Вадя! – позвала Тамила, вышедшая следом за мной в коридор. – Погоди. – Она подошла ближе, вперив в меня мрачноватый взгляд черных глаз. – Вадя, она тебе не скажет, она сама еще не решила, ну, не решилась... А я скажу. По-моему, так будет честнее...

– Что хочешь сказать, Тамила? – спросил я, охваченный внезапным холодком нехорошего предчувствия.

– К Маше стал приходиться один из ваших. Тоже курсант, у него тоже эти нашивки, – Тамила ткнула пальцем в мои «галочки» на рукаве, – только не две, как у тебя, а три. Сегодня он пришел, Маша его ждала, и они куда-то ушли. Вот... даже не знаю, как его зовут. Он похож на Столярова...

– Какого Столярова? – спросил я.

Но мне уже не были нужны уточнения. Я-то знал, как зовут его... неожиданного соперника...

– Ну, на артиста, который в «Цирке» играл.

Льдины плыли и плыли по Неве. Я, кажется, долго стоял возле сфинксов, глядя на ледоход. Темнело небо, зажглись фонари. Набью ему морду, думал я, сидя в Румянцевском сквере

возле забитого ветками и прочим зимним хламом фонтана. Как же можно – мы ведь, кажется, друзья – взять и вот так подло, ни слова не говоря, отбить...

Конечно, я на Столярова не похож. Не такой высокий... и походка у меня косолапая... Вместо белокурой прически у меня на голове нечто рыжеватое... как гречневая каша... Но все же я не урод! Нос у меня не кривой, уши не торчком! Не урод, не дурак!

Я криком кричал... ну, конечно, безмолвно...

После отбоя я долго лежал в кубрике без сна. На соседней койке привычно храпел Пашка Лысенков. Привычно подвывал во сне и скрежетал зубами курсант Шапкин (ему вечно снилось, будто он падает с лошади). Я встал и побрел в гальюн.

Там на подоконнике сидел и курил Травников.

– А я тебя поджидаю, – сказал он, поднявшись.

– Откуда ты знал, что я в гальюн приду?

– Знал. Нам поговорить надо.

– Морду надо тебе набить, – сказал я.

– Ты отлей сперва.

Не стал я бить Травникову морду. Только бросил резко:

– Не ожидал, что ты такой гад.

Он дернул головой, как от удара в челюсть. Сдержанно сказал:

– Понимаю твое состояние... Но пойми и ты... Дима, хочу, чтобы честно... Не хотел я отбивать ее у тебя. Слово даю, даже и в мыслях не было. Но... вдруг обрушилось...

– Врешь! Не было мысли, так не полез бы!

– Дима, клянусь, что не вру! Не хотел отбивать. Но на вечере в училище, когда танцевал с ней... разговорились мы... сперва, знаешь, шутливо, а потом... мне вдруг показалось, что она дрожит... Я спрашиваю: вам холодно? Нет, говорит, скорее жарко... Я говорю, говорю ей что-то, ну, трали-вали... а она смотрит на меня, и такое ощущение, что я тону... Дим, это так сильно нахлынуло, что не мог я, не мог, понимаешь, не смог устоять... Прости!

А у меня – ни слов прощения, ни осуждения. Такая горечь... Ну да, думаю, ты же *не тонешь*... ты раздвигаешь бревна, плывущие над головой... Молча повернулся я и пошел к себе в кубрик.

Вы понимаете, конечно: отношения с Травниковым у меня оборвались. Я избегал встреч с ним в коридорах училища. Перестал приходиться на волейбольные тренировки. Пусть Жорка Горгадзе подает ему мяч для топки... Кстати, я вскоре узнал, что именно на квартире Горгадзе встречаются Травников с Машей (родители Горгадзе, артисты Ленконцерта, или как там это называлось, часто уезжали в командировки, и квартира оказывалась в Жоркином распоряжении).

Такие вот дела.

А с Машей я однажды увиделся.

Было это в мае. Мама передала мне Оськино приглашение на концерт в консерватории, в котором он должен был выступить. У нас уже начались экзамены, тут не до концертов, но все же... Ну, не хотел я Оську обижать...

Я выправил увольнительную (благо воскресенье было) и поехал.

Концерт уже шел, когда я добрался до консерватории. На ярко освещенной сцене худощавая девица в длинном черном платье играла на рояле что-то быстрое. Я углядел свободное кресло в середине зала, прошел и сел, переводя дыхание. Пианистка играла все быстрее, быстрее и закончила такими мощными аккордами, что у меня в голове мелькнуло – как бы рояль не расколошматил, но ничего, обошлось. Девица встала, раскланялась под аплодисменты. И тут я заметил справа, через проход, во втором или третьем ряду, седую голову Розалии Абрамовны, а за ней еще две головы – каштаново-кудрявую Райкину и русую голову Маши.

Вот она, Маша, хорошо знакомым мне движением поправила волосы и повернула голову к Райке, они о чем-то заговорили... Да какое мне дело до них... Но сердце мое колотилось у горла...

На сцену вышел вихрастый малый в тесном желтом пиджачке, с пятнистым галстуком и объявил:

– Глинка. «Сомнение», слова Кукольника.

И запел. У него приятный оказался баритон. Хорошо он пел! Ему та самая девица в черном аккомпанировала на рояле. Впервые я этот романс слушал, и, знаете, он меня здорово пронял. Эти фразы: «Мне снится соперник счастливый...», «И тайно, и злобно оружия ищет рука»... – они были как удары тока... А финал какой!

Минует печальное время, —
Мы снова обнимем друг друга,
И страстно, и жарко
Забьется воскресшее сердце,
И страстно, и жарко
С устами сольются уста.

Я посмотрел на Машу. Через ряды бесстрастных голов я вопрошал безмолвно: «Ты слышишь?.. Ты помнишь?.. Хоть что-то шевельнулось в твоей душе?..»

И вот дело дошло до Оськи. Он вышел на сцену в черном костюме, с черной бабочкой над белой рубашкой. Та же дева уселась за рояль. Оська каким-то сдавленным голосом объявил:

– Чайковский. «Размышление».

Мотнув головой, пристроил скрипку к горлу – и тронул смычком струны.

Я не меломан, нет, вполне обходился без музыки, ну нравились кое-какие песни: «Нас утро встречает прохладой», или, к примеру, «Любимый город в синей дымке тает», это недавно пел Бернес в картине «Истребители»... Я это к тому, что музыка жила где-то отдельной жизнью. А тут...

Тихо и печально льется мелодия, она, как облака, плывущие над Невой, подсвечена заходящим солнцем... нет, еще выше – заоблачная она, может, из космоса – нет-нет, это жалоба одинокой души – не жалеют, не хотят выслушать, понять – но и не жалоба это, а может, усталость – сколько можно добиваться несбыточного – ну что ж, пора и отдохнуть – подумать о прожитой жизни и о той, что еще впереди, – и с новыми силами.

Мелодия угасла, умолкла скрипка. Оська, серьезный, бледный, с поджатой нижней губой, стоял на краю сцены, кланялся рукоплещущему залу. Ну, Оська! Триумфатор, да и только. Быстрым шагом он ушел за кулисы, а по окончании концерта спустился в зал, со скрипкой в футляре, его в проходе окружили, поздравляли. Я тоже подошел. Оська, увидев меня, протянул руку:

– Привет, Вадька!

– Привет, – говорю. – Ты здорово играл, молодец.

– То ли еще будет, – говорит Райка.

– А что будет? – спрашиваю.

Но Райка, холодно взглянув на меня, не ответила. Чем я тебе не угодил, гордячка? Я слышал, ты выиграла в женском шахматном чемпионате университета и будешь играть в городском турнире. Ты тоже, конечно, молодец. Вы оба молодцы...

А Розалия Абрамовна ответила вместо Райки:

– Будет «Чакона» Баха. Очень трудная вещь, Ося много над ней работает. Как поживаешь, Дима?

– Спасибо, – говорю, – Розалия Абрамовна. Хорошо поживаю.

Маша стояла тут же, в своем синем облегающем платье, только без банта. Она улыбнулась мне, и было в ее улыбке нечто ускользающее... вопрошающее... непонятное...

Было бы глупо отвернуться с обиженным – или наигранно равнодушным – видом. Я шагнул к ней, поздоровался.

– Здравствуй, Вадя, – ответила она.

– Как поживает Тамила? – сказал я первое, что пришло в голову.

– Тамила? – Маша удивленно посмотрела на меня. – Ну, как обычно...

– А Катюша как? Замуж не вышла? За парня, который в Нарьян-Маре?

Маша обеими руками отвела волосы со лба.

«Руки, – вспомнилось мне вдруг, – вы словно две большие птицы...»

– Вадя, – сказала она тихо, – я чувствую себя виноватой, но понимаешь...

– Понимаю, – не дал я ей договорить. – Ты ни в чем, решительно ни в чем не виновата.

Глава третья

Курсантская бригада вступила в дело

Перед отправкой Вадим Плещеев успел забежать домой. Пока шло формирование батальона курсантов-фрунзенцев, ни о каких увольнениях, понятно, и речи быть не могло, а тут, когда утвердили списки и наутро была назначена отправка, Вадим попросил Рудакова, командира роты, отпустить его – с матерью попрощаться. Рудаков, поджарый крикливый старлей, наоравшийся и набегавшийся за день, насупил белесые брови в раздумье – и разрешил. А чего бы не разрешить, он Вадима знал как исправного курсанта.

– В двадцать один час – чтоб был на месте как штык, – сказал он строго. И, скользнув выскующим взглядом вниз, добавил: – Ботинки почисть.

Вот же ходячий устав – не зря так прозвали Рудакова курсанты.

Вера Ивановна, к счастью, была дома.

– Ой, Димка! – Она порывисто обняла сына. – А я жду, жду тебя или хотя бы твоего звонка.

– Очень суматошные дни, мама. К телефону в училище не пробиться.

– Понимаю, понимаю. Сядь, Димка, отдохни. Как ужасно, что война началась!

– Сволочь Гитлер! Знаешь, мне как-то не верилось в Пакт о ненападении...

– А кто верил, Дима? Но все же мы считали, что пакт отодвинет войну.

– Мама, война не будет долгой. Мобилизация идет, скоро вступят в бой наши главные силы. Немцев остановят.

Вера Ивановна вздохнула:

– Знаешь, вчера отец забежал ко мне в библиотеку. Говорит, крупная немецкая армия нацелена на Ленинград.

– Остановят, – повторил Вадим, закурив. – Мама, значит, вот что. Формируется бригада курсантов военно-морских училищ. Пять батальонов. Я, значит, в батальоне фрунзенцев. Завтра нас отправляют.

– Куда?

Это у Веры Ивановны криком вырвалось. Та война, Гражданская, хоть и минула давно, но в памяти сидела прочно: голод, холод, тиф... Нет-нет, не должно повториться!

– Мам, ну откуда я знаю? Это ж военная тайна. По слухам, задача будет – борьба с десантами.

Вера Ивановна отвела взгляд к окну. Светлый тихий вечер плеснул голубизной в ее встревоженные глаза.

Она захлопотала с чаем. Вадим вошел в кабинет. Дед Иван Теодорович, лысоватый, с подстриженной квадратной бородой, уставился на него с фотопортрета. Рядом с ним улыбалась Полина Егоровна – светлоглазая и как бы удивленная чем-то, в закрытом до горла платье. Она умерла от сыпного тифа за год до рождения Вадима, ей было всего сорок четыре. Вадим знал, что бабушка (хоть и странно так называть ее, молодую) была очень хорошая, что она жила, по выражению Веры Ивановны, «в облаке поэзии». Она посещала частые в то время вечера поэтов, писала им восторженные письма, иногда и ответы получала. Однажды пришло коротенькое письмо от самого Блока – ох и гордилась и была счастлива Полина Егоровна. Как жалко, что это письмо затерялось в безумные дни девятнадцатого года, когда с тяжким топотом вторглись в квартиру новые люди и потребовали «уплотниться», – из четырех комнат оставили им одну. Затерявшееся при «уплотнении» драгоценное письмо Блока Полина Егоровна, конечно, помнила наизусть и записала его – там были такие строки: «Но мрак и пустоту страшного мира заполняют слово поэта и дух музыки...» Сохранилась от бабушки тетрадка в выцвет-

шей голубой обложке, заполненная любимыми стихами, и первым там стояло стихотворение Хлебникова – его начало Вадим еще в детстве запомнил:

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей...

Времири! Какое чудное слово придумал этот великий выдумщик. Соединил время и сне-
гирей – и возник поэтический образ...

– Боюсь, боюсь, – говорила Вера Ивановна за чаем. – Война – это ужасно... Буржуйка,
дым в комнате, вяленая вобла, чечевица черная...

– Ну, мама! – засмеялся Вадим. – Ты еще войну восемьсот двенадцатого года вспомни.

– Дима, знаешь, нас отправят на оборонные работы.

– Кого это – нас?

– Все население Ленинграда, которое не занято на заводах. Такой слух прошел.

– Это возможно, – сказал Вадим после паузы. – Ближе к Питеру немцев не подпустят...
но на всякий случай...

Он отпил из стакана, вставленного в дедовский серебряный подстаканник, и поднял глаза
на мать. Перехватил ее встревоженный взгляд.

– Мама, не бойся. – Вадим погладил ее маленькую, в голубых прожилках руку. – Мы
сильнее немцев. Мы их остановим.

Простившись с матерью, Вадим сбежал на второй этаж и позвонил Виленским. Ему
открыла Райка с пирожком в руке.

– Это ты? – сказала она, дожевывая кусок. – А я думала, Оська пришел. Заходи.

На ней был старенький ситцевый халатик неопределенного цвета. Она поправила густые
каштановые волосы и указала Вадиму на блюдо, стоявшее на столе, наполненное желтыми
пирожками.

– Ешь, Дима. У нас в буфете сегодня их продавали, тридцать копеек штука. Вкус
довольно противный, как будто на мазуте их жарили, но ничего.

– А где Оська? – Вадим кинул на диван бескозырку, взял пирожок.

– Ой, он как утром убежал, так и нету его. В ополчение Оська записался. Весь их курс
записался. Позавчера объявили, что переведут на казарменное положение, но что-то там не
готово. Бегают каждый день. А что у тебя, Дим?

– Действительно, чем-то пахнет, – сказал Вадим, жуя пирожок. – Только не мазутом, ско-
рее соляром. Я зачислен в бригаду курсантов военно-морских училищ. Завтра нас отправляют.
Вот, забежал попрощаться.

– А куда отправляют?

– Не знаю, Райка. Это военная тайна.

– Да, конечно, тайна. А нас на работы отправляют.

– Вас? Студентов?

– Ну да. Девочек всех и тех мальчишек, которых не взяли в армию как дефективных. Куда
отправят? Это тоже тайна. Но говорят, что под Лугу.

– Луга! Ты представляешь, где находится Луга?

– Представляю. Мы с Машей на карте посмотрели.

– Это ж в сотне километров от Питера.

– Дима, я говорю то, что слышала.

Она вскинула голову и посмотрела на Вадима с таким видом, словно ее возмутило его возражение. Сдвинутые черные брови, сердитый взгляд – ну, Вадим-то хорошо знал быструю переменчивость Райкиных настроений.

– Дим, знаешь, Маша дико беспокоится, что от Травникова как война началась, так и нет писем.

– Травников в Таллине. Старшекурсники там на кораблях, на практике.

– Маша знает, что он в Таллин уехал. Но ведь война. Их могли бросить на фронт.

– Все возможно, Райка. А мама где?

– У себя в больнице, на дежурстве.

– Ну ладно. – Вадим взглянул на часы. – Пойду.

– Димка, ты сказал «все возможно». Так давай попросимся.

Она, закрыв глаза, потянулась к нему. Вадим обнял ее. Их губы встретились в долгом поцелуе.

– Вот и попросились. – Рая оттолкнула его. – Береги себя, слышишь?

– И ты береги себя. Счастливо!

Вадим надел бескозырку и вышел в коридор. Но тут прозвенели звонки, Рая побежала открывать. Вошел солдат в пилотке – Вадим не сразу узнал Оську. Под мышкой Оська держал сверток, обмотанный газетами.

– Вадька! – вскричал он. – Здорово, гроза морей!

В свертке Оська притащил свои гражданские вещи – рубашку-тенниску, штаны и туфли. Красноармейская форма сидела на нем мешковато, и казалось, что его тонкие ноги болтаются в слишком больших сапогах.

– Я боец Второй дивизии народного ополчения, – объявил Оська не без торжественности. – Ясно вам, мадам и месье?

– Ясно, ясно, товарищ боец, – сказала Рая. – Съешь пока пирожок, а я обед разогрею. И позвони Ане. Она беспокоится, тридцать раз звонила.

Оська метнулся к телефонному аппарату, висевшему на стене возле старинного буфета, и, набрав номер, закричал в трубку:

– Анюта! Да, я! Что?.. Нет-нет, пока обучение... О-бу-чение! Да, завтра с утра начнем... Что? Анюта, сиди дома, я скоро приеду... Ну, через час! Пока! – Он повесил трубку, схватил пирожок. – Черт-те что, живет недалеко, на площади Труда, а в телефоне голос такой, будто она на Охте.

– А кто она? – спросил Вадим.

– Моя однокурсница. Какая вкуснотища! – Оська энергично жевал пирожок. – Да ты видел ее – на концерте она мне аккомпанировала.

Вадим вспомнил худенькую девицу в длинном черном платье – она здорово играла, ручки тонкие, а с какой силой ударяли по клавишам...

– Анька – это чудо, – продолжал Оська. – Богиня музыки! Она будет великой пианисткой, вот увидишь.

– А ты – великим скрипачом, да?

– Не знаю, – ответил Оська. – Я трудяга, ломовая лошадь. Анька схватывает на лету – и тему, и ритм, и настроение. Прямо моцартовская легкость... Мы с Аней решили пожениться. После победы, конечно.

Чертов Ксенофонов, от него одни неприятности. Маленький, с выпученными глазами, он так и высматривает, к чему бы придраться. И раскрывает рот размером с городские ворота в Ораниенбауме, на проспекте Юного Ленинца. То заявляет претензию, что недодают сахар, положенный по норме (и, возможно, так оно и есть), то он недоволен, что сводки о положении

на фронтах доходят до нашей роты с безобразным опозданием (верно и это, но надо же учитывать, что в полевых условиях нету радио, газеты же привозят редко).

А сводки были плохие. Совершенно не похожие на песни, которые мы пели (помните? «Если завтра война, если завтра в поход... Полетит самолет, застрочит пулемет, загрохочут могучие танки...»). Немецко-фашистские войска продвигались с ошеломительной быстротой, грохотали не наши, а их танки. Была надежда, что их остановят под Псковом, на реке Великой, но немцы взломали оборону, и теперь она уже в Луге, сражение идет на лужском рубеже.

А мы, курсантская бригада, пока не вступили в дело. Мы патрулируем Приморское шоссе от Петергофа почти до Нарвы, и задача у нас – уничтожить воздушные десанты противника и охранять тылы Северного фронта от диверсантов. Кроме того, мы учимся сухопутному бою. Наш батальон разместился в старых бараках на окраине Ораниенбаума, недалеко от павильона Каталной горки. Этот павильон – роскошное строение восемнадцатого века с колоннадой и колоколообразным куполом – закрыт, этакий пережиток веселых времен. Что до катальной горки, по которой с грохотом неслись в тележках по врезанным колеям вельможи в париках и их дамы, то это прекрасное развлечение давным-давно закончилось, бревенчатый многометровый скат зарос кустарником. Ну а дальше на пустыре поставили щиты с мишенями, и мы падем в них лежа и с колена. И еще учимся окапываться саперной лопаткой, ползать по-пластунски и метать гранаты. Это, понятно, наука нехитрая – копай, ползи, кидай с размахом, а вот со стрельбой посложнее, винтовку пристрелять надо, приспособиться к ней. Я приспособился, а с меткостью полный порядок, я ведь со школьных времен – ворошиловский стрелок.

Воздушных десантов не было. Над нами простиралось удивительно чистое небо, ну ни тучки, ни облачка. Как будто мирное время на дворе, и цветут нарциссы, и «у самовара я и моя Маша»... Вот еще! Что за чушь лезет в голову...

Вот как было дело. Со стороны Питера въезжала в Ораниенбаум «эмка», а там как раз патрулировали Ксенофонтов и Дзюба. В «эмке» глазастый Ксенофонтов разглядел подозрительного пассажира и, недолго думая, выскочил с винтовкой наизготовку на шоссе:

– Стой!

Шофер тормознул у носков ксенофонтовских ботинок. Сидевший с ним рядом блондин, средних лет, в шляпе, в светлом костюме в мелкую клетку, выглядел как самый настоящий шпион.

– В чем дело? – спросил он с мягким иностранным акцентом.

– А ну, вылезай из машины! – потребовал Ксенофонтов.

Со шпионами у него был разговор короткий. Не слушая никаких объяснений, Ксенофонтов и Дзюба отвели блондина в ближайшее отделение милиции. Там пойманный шпион предъявил удостоверение, из коего явствовало, что он зампредела Совнаркома Эстонской ССР. Не больше и не меньше...

– Откуда вы ехали? – недоверчиво спросил пожилой дежурный в отделении. – И куда?

– Из Ленинграта, – ответил шпион, нисколько не волнуясь. – Из командировки. Я ету в Таллин.

Мне Дзюба рассказал, посмеиваясь, как все это происходило. Рассказал, как дежурный сержант вызвал по телефону милицейское начальство, а оно соединилось со штабом нашей бригады, и вскоре в душной комнате отделения стало тесно от приехавших высоких чинов, и появился сам командир курсантской бригады, наш грозный контр-адмирал. Он быстро во всем разобрался и принес извинения эстонскому правительственному человеку, который в течение разбирательства сохранял невозмутимое спокойствие. Тот кивнул, сел в «эмку» и уехал к себе в Таллин. Комбриг, потрогав свой по-грузински солидный нос, внимательно посмотрел на Ксенофонтова и сказал: «Благодарю за бдительность, товарищ боец. Но не надо доводить ее до глупости». И Ксенофонтов выпучил свои глазены и гаркнул: «Есть не доводить, товарищ адмирал!»

А вечером следующего дня, когда мы после ужина вышли покурить, меня поздравил Рудаков, наш ротный командир. На его тощем, красном от загара лице были строго сдвинуты белевые брови.

– Плещеев, – сказал он, закутив папиросу, – ты хорошо знаешь Ксенофонтова?

– Да нет, товарищ старший лейтенант, – говорю, – он же с первого курса. А что такое?

– Ты, как командир отделения, присматривай, чтоб Ксенофонтов не выкинул чего-нибудь. Знаешь поговорку: «Вели дураку молиться – он себе лоб расшибет»?

– Знаю.

– Ну вот. Бдительность, конечно, нужна, но – без глупостей. Ты понял?

Разумеется, я понял. Комбриг, наверное, получил взбучку из высоких сфер: что это, дескать, позволяют себе ваши курсанты, наведите-ка порядок, контр-адмирал. Ну а он, само собой, дал нагоняй нашему комбату, тот воткнул ротному, и вот Рудаков добрался до нижней ступеньки лестницы – до командира отделения. То есть до меня.

Вообще-то, я не очень обрадовался, когда меня назначили командиром отделения. Командовать курсантами – я думаю, это не легче, чем работать в цирке дрессировщиком белых медведей. Ведь каждый из них... каждый из нас воображает себя будущим адмиралом Нахимовым... или Крузенштерном, в конце-то концов...

Тут я услышал: у нашего воспитательного разговора появился как бы слабый звуковой фон.

– Ты понял, Плещеев? – повторил ротный.

А я стоял, вытянувшись как столб, и вслушивался в далекий гул.

– Курсант Плещеев, почему не отвечаете? – рассердился Рудаков.

– Товарищ старший лейтенант, – говорю, – прислушайтесь... По-моему, это канонада.

С минуту мы молча стояли за углом старого барака, на краю поля, служившего нам стрельбищем, и вслушивались в гул, все более явственно доносившийся с юга.

Да, точно – это была канонада.

Когда на станции Веймарн мы, курсантский батальон, повыпрыгивали из теплушек и принялись разгружать вагон – ящики с боеприпасами и провиантом, – я сразу ощутил давление неба. После недавней бомбежки в Веймарне горели какие-то склады, клубящиеся черные тучи расплзались по небу, и так уж мне почудилось, что оно, небо, уплотнилось, воздух выгорел, и остался только дым, дым...

Но что бы там ни причудилось голове, а руки делали свое дело. Разгрузив вагон, после короткого перекура батальон длинной колонной двинулся к Кингисеппу. Этот город на правом берегу Луги обороняли части 8-й армии, сильно измотанной, обескровленной в непрерывных боях. Им в помощь шли батальоны 2-й бригады морской пехоты, еще не закончившей формирования, и вот – наш курсантский батальон.

Шли форсированным маршем. День клонился к вечеру. Солнце – размытый в клубах дыма багровый, как свежая рана, фонарь – низко стояло над полем, над безлюдным поселком с полуразрушенной церковью, над поникшими посадками. И уже завиднелись дома в огородах на окраине Кингисеппа, когда из дымных полос вывалились два самолета и пошли вдоль дороги, присматриваясь.

– Воздух! – орал командир в колонне.

Курсанты, понятно, сыпанули в обе стороны – в кюветы, в посадки, в кусты. Самолеты, развернувшись, с воем пошли обратно, снижаясь и расстреливая дорогу из пулеметов, прихватывая и ее обочины.

Так мы впервые увидели «мессершмитты» – совсем не похожие на наши «чайки» и «ишачки», у них были острые хищные носы и скорости другие. При первом этом налете потери в батальоне были небольшие: четверых ранило, одного из них тяжело.

Первые дни и ночи в обороне были какие-то бестолковые. Армейское начальство сперва разбросало роты нашего батальона в своих боевых порядках, мы стали окапываться близ их траншей, нам кричали заросшие, небритые солдаты в мятых пилотках: «Эй, морячки! Ишь чистенькие какие... На каком корабле приплыли?.. Махорочкой не разживемся у вас?» Ночь прошла беспокойно, противник вел огонь, так и называющийся: беспокоящий, мы в неглубоких своих окопах не очень-то спали, да и как заснешь, если под головой угловатый и жесткий (наполненный патронами в обоймах, ручными гранатами и несколькими банками консервов) вещмешок? Да и холодна ночь в поле, хорошо хоть, что родной бушлат надет.

А ранним утром вместо завтрака – артобстрел. Лежишь в окопе, носом в землю, и нарастающий свист каждого снаряда будто нацелен в тебя, и грохочущие черные кусты разрывов обдают твой окоп черным песком, тротиловой вонью. Было страшно, страшно. В нескольких сантиметрах от моей головы шлепнулся осколок – зазубренный, горячий, я схватил его, обжигая ладонь, и сунул в карман бушлата.

Артобстрел передвинулся влево. Я выглянул из окопа. Разрывы снарядов грохотали на улице городской окраины, на огородах. Там белая коза, привязанная к штакетнику, забытая бежавшими хозяевами, отчаянно билась, кидалась из стороны в сторону. Вдруг из соседнего окопа выскочил маленький человек в перепачканном бушлате, с винтовкой за спиной и, согнувшись, побежал туда, к огородам.

– Ксенофонтов! – заорал я сквозь грохот разрывов. – Назад! С ума сошел?!

Ему и другие ребята кричали, материли его – Ксенофонтов не слышал. Ну сумасшедший!.. Добежал до козы, упал, пережидая очередной разрыв... «Эй, ты живой, Ксенофонтов?!» Сквозь рассеивающийся дым мы увидели: он полоснул ножом по веревке... белая коза скачками пустилась в огороды... Ксенофонтов свистнул ей вслед и, согнувшись, побежал обратно...

Добежав до окопа, повалился навзничь, бурно дыша. Я посмотрел на его мокрое от пота лицо с выпученными глазами и только и сумел сказать, качнув головой:

– Ну, Ксенофонтов!

В тот день мы отбили две атаки. Шли бронемашины с пулеметами, а за ними бежала пехота – в первый раз я увидел немецких солдат в зеленых мундирах, в касках – первый раз стрелял в живых людей – во врагов, напавших на мою страну, – в одного точно попал, он будто споткнулся об мою пулю и рухнул ничком – потом, когда их цепь распалась и повернула обратно, я видел: «моего» подхватили двое и потащили – может, я не убил его, а ранил.

Спустя часа три атака повторилась, но пришлась не на наши позиции, а на соседей справа, но и нам досталось от артогня – вначале немецкого, а потом и от нашего, когда пушки лужского укрепленного сектора стали лупить по немецкой мотопехоте, вклинившейся в позиции соседей. Оглохший, почти задохнувшийся в смрадном дыму, я видел, как Рудаков в своем окопе накручивает ручку полевого телефона и что-то орет в трубку, а лицо у него залито кровью. Как меня не убило в тот день – понять трудно.

Да и вообще трудно было что-либо понять в том, что происходило. Дни и ночи перемешались, их заволочло дымами неутраченного сражения. Противник, по слухам, прорвался на правый берег Луги в районе Сабска и села Ивановского и теперь давил на Кингисепп – это давление нарастало, мы отошли на разрушенные артогнем улицы, засели в развалинах домов; вдруг армейское начальство приказало поредевшим ротам батальона ранним утром начать контратаку – выбить группу немецких мотоциклистов, прорвавшихся к пристани. Мы примкнули к винтовкам штыки и пошли в указанном направлении – из кривого переулочка выскочили на Старо-Ямбургскую улицу, спускающуюся к набережной, – там возле одноэтажного здания стояли мотоциклы, а из черных выбитых окон ударили автоматы – мы упали животами на булыжник – свист очередей над головой – страшно, страшно – как же подобраться к ним на бросок гранаты – а как иначе, только по-пластунски – мы медленно поползли вперед...

Слева тянулось приземистое краснокирпичное строение, мы доползли до его угла – вдруг из-за этого угла грянуло раскатистое:

– Курсанты, впере-о-од!

Оттуда побежали с винтовками наперевес – тут и я скомандовал своим ребятам: «Гранаты к бою! Бегом вперед!» Мы вскочили, припустили во весь дух, влились в цепь атакующей роты – да какая цепь, бежали черной толпой – орали, матерились – кто-то падал с разбегу – кому везет в атаке, а кому нет, – но огонь автоматчиков редел, стихал – вон они, немчура, повыскакивали, с автоматами на шее, кинулись к своим мотоциклам – а ну, гранатами их, ребята! – уже можно достать...

Разрывы, разрывы, разрывы гранат – вой мотоциклетных моторов – успели удрать, сволочи, помчались к мосту, на ту сторону Луги, – нет, не все удрали! – в рассеивающемся дыму видим: лежат, руки разбросав, убитые немцы – а вон убегают двое – к мосту бегут, к разбитому вагону на железной дороге – за ними припустили ребята – один немец остановился, от живота ударил очередь – кто-то из бегущих за ними упал...

И еще из безумного этого утра запомнилось мне, врезалось в память: два немца, схваченные в плен, оба в кожаных шлемах, мотоциклисты, сидят понуро на краю тротуара – и Дзюба, страшно матерясь, вскинул винтовку на одного из них, сейчас выпалит...

– Отставить, Дзюба! – заорал Рудаков, с обвязанной головой, с наганом в руке.

– Он Сerezку убил, Ксенофонта! – выкрикнул Дзюба. У него глаза грозно пылали.

– Не стрелять в пленных! – прохрипел Рудаков.

Немец трясущейся рукой стянул шлем с белобрысой мальчишеской головы. Глядя на нас ненавидящим взглядом, пробормотал:

– Schwarze Teufels...²

Я не вел счета времени, дни и ночи перемешались в неумолчном реве пушек обеих сторон – но не менее десяти суток части 8-й армии и мы, морская пехота, держали Кингисепп. Тихая Луга, обтекавшая город, под ударами артиллерии вскидывала огромные фонтаны воды, смешанной с илом. Дымились ее обожженные берега.

В ночь на 16 августа мы оставили Кингисепп. Оставили в братской могиле на лужском берегу несколько десятков бойцов нашего батальона. Оставили в окопах и в завалах свою ярость и боль. Мы уходили уже не теми зелеными необстрелянными юнцами, какими пришли сюда. Не соблюдая строя, небольшими группами молча шли бывшие мальчишки, неся оружие и снаряжение. Давно не брившиеся и не умывавшиеся, шли в обтертых об разоренную землю бушлатах и брюках, неудобных для сухопутных боев. Скрипело под нашими ботинками выбитое оконное стекло. Ночь была темная, новорожденный тонкий месяц расходовал очень мало света на освещение нашего печального пути. Я пытался прочесть на углах уцелевших домов название длинной улицы, по которой мы выходили из города, получалось не то Кряковское, не то Криковское шоссе. Наверное, Криковское. Крик. Кричал покидаемый нами полумертвый город.

Что было хорошо на новом рубеже обороны, занятом курсантским батальоном, так это речка или, скорее, ручей, протекавший сквозь перелесок, такой красивый, что хотелось назвать его, как называли прежде поэты, дубравой. Дубов там, впрочем, не было, а стояли березы впере-мешку с ивами, свесившими длинные ветви над ручьем. В то лето, надо сказать, стояла на редкость хорошая погода – солнечная, с ясным небом. Природа как бы показывала себя во всей красе, безмолвно взывая к людям: «Безумцы, перестаньте губить меня... и себя...»

Мы рыли траншеи, зарывались в землю, – мы знали уже, что только она, земля, нас защитит.

² Черные дьяволы (нем.).

Двое суток перед этим, а может, трое мы питались всухомятку – сухарями и консервами, уже обрыдли бычки в томате, главная наша еда. А тут ближе к вечеру прикатили наконец-то полевые кухни, вот же радость была – пшенка, горячая блондинка с волокнами мясных консервов. Из ручья ребята натаскали в котелках воды, ее вскипятили и пили с сахаром вприкуску.

– Прямо как в кафе «Норд», – высказался Дзюба, осушив свою кружку. – Теперь по бабам бы пойти. Не знаешь, как называется этот город?

Он ткнул пальцем в плотную группу строений, видневшуюся позади нас, за перелеском, на пологом холме.

– Котлы, – сказал я. – У ротного на карте я видел.

– Ну, бабы и в Котлах живут. Они везде, где есть жизнь.

– Ты их вряд ли заинтересуешь. Зарос черным волосом, и уши опухшие.

– Как это – опухшие уши? – удивился Дзюба.

– От недостатка курева, – пояснил я.

Это была истинная правда – не опухшие уши, конечно, а перебои с табачным удовольствием, что, в общем-то, объяснялось не только вечной негибкостью службы тыла, но и частыми передвижениями переднего края.

– Ты на себя посмотри, Плещеев, – проворчал Дзюба. – Отрастил рыжие усы, как таракан, и ходишь радуешься.

Николай Дзюба, грубоватый мальчик с дерзким прищуром черных глаз, был, как и я, коренным ленинградцем и моим однокурсником. Но дружбы между нами не было. Мы однажды, еще на первом курсе, чуть не подрались. По утрам, знаете, небольшие очереди бывали у умывальников, так вот, как-то раз я умывался, вдруг меня так толкнули в бок, что я отлетел от умывальника, стенку обнял. «Ты чего пихаешься?!» – заорал я и пошел, мокрый до пояса, на Дзюбу: это он толкнул. Драка была бы непременно, но Валька Травников живо встрял между нами, раскинув руки: «Тихо, тихо, вы, петухи боевые!» Дзюба, глаза упрятав в щелки, орал: «А чего он полчаса умывается? Рожу ополоснул, и все, отойди!» Неохота вспоминать... Но вечером того же дня в галюне я курил, сидя на подоконнике, вдруг он подошел, Дзюба, и говорит: «Дай прикурить. – И, резанув черным взглядом: – Выяснить отношения будем?» – «Нет, – говорю, – нечего выяснять». – «Есть чего. Твой пахан, знаю, герой штурма Кронштадта. А мой пахан тоже в штурме участвовал». – «Ну, – говорю, – значит, оба они герои. Дальше что?» – «А дальше, – объявляет Дзюба, выпустив струю табачного дыма, – получилась большая разница. Твой пошел учиться, вышел в начальство...» – «Никакое не начальство. Журналист он». – «Журналист все равно что начальство. А мой остался служить в Чека, в комендантском взводе. Шоферюгой. Понял?» – «Ну и что?» – «А то, что в ночную работу попал. Опять не понял? Которых там, в подвале, по ночам расстреливали, пахан на грузовике крытом в поле вывозил. В место захоронения». Опять Дзюба струю дыма вытолкнул. Я молчал, отвернувшись. «Работа не пыльная, – продолжал он, – деньги платили, только вот – снились пахану эти... Под утро приедет, ляжет спать – вдруг как вскинется с криком... Стал водкой сны глушить. Мать: „Уйди, уйди с работы этой“. А его не отпускали». Дзюба умолк. «Так и не отпустили?» – спросил я. «Отпустили, когда батя помер. От ци... забыл, слово мудреное... ну когда печень загубил напрочь». – «Сочувствую», – говорю я и соскочил с подоконника. А Дзюба: «Он мне перед смертью знаешь что сказал? „Колька, никогда не иди на ночную работу“ – вот что сказал и матом как покроет их... на кого работал... с тем и помер...» Я еще подумал после того разговора, что он, Коля Дзюба, пошел в военно-морское училище, чтобы отцовскую загубленную жизнь как-то... ну, уравновесить, что ли...

Мы сидели на бруствере свежевыврытой траншеи. Пахло землей и чистым, не задымленным воздухом. Если б не канонада, доносившаяся с южной стороны, и не вереница беженцев на грунтовой дороге, ведущей в Котлы, то могло бы показаться, что нет никакой войны.

Вот она, война, совершенно не похожая на ту, из довоенных песен. Женщины и дети, старики, бредущие по дороге, катящие тележки и коляски со своим скарбом. Куда идете? Где найдете пристанище, пропитание, кров над головой? Люди – как осенние листья, сорванные с веток штормовым ветром...

Очень хотелось курить.

– Что? – спохватился я, что не слушаю Дзюбу. – Что ты сказал?

– У него старший брат, говорю, капитаном плавал на буксирном пароходике, так он матросом к нему пошел...

– Ты о ком?

– Да о Сереге, о Ксенофонтове. У тебя что, уши заложило? Нормально плавали они по озеру, по Онежскому, значит, а потом брательник какой-то ворованный груз принял на борт, так Серега разругался с ним и ушел. Списался с буксира и пошел заканчивать десятый класс. Они, братья, детдомовские оба, безотцовщина. Серегу некоторые граждане дурачком считали. Вот ты, например.

– Ничего я не считал...

– А он только хотел, чтоб все было правильно. Ну, как учили.

– Жалко Ксенофонтова, – говорю.

– И очень за свой Петрозаводск беспокоился – чтобы финны его не сцапали.

Тут наш разговор прервал Ваня Шапкин. Подошел, быстрый и легкий, со своей улыбочкой, и говорит:

– Пляшите! А иначе не дам.

Ну, плясать – это как раз по его части: Ваня лучший плясун у нас в училище, на концертах самодеятельности отплясывал так лихо, что тяжелая люстра раскачивалась.

Догадаться не трудно: где-то Шапкин разжился табачком.

– Давай, давай, Ваня, – тянет к нему Дзюба свою ручищу. – А то уши опухли. Плясать потом будем.

Из своего кисета, похожего на варежку, Шапкин сыплет нам на газетные клочки драгоценный в окопной жизни продукт – рыжую махорку. На его худеньком веснушчатом лице сияет улыбка победителя. Мы сворачиваем сигарки, склеиваем жадной от нетерпения слюной – и прикуриваем от Ваниной спички. Ох, первая затяжка – какое наслаждение! А Ваня садится рядом, тоже закуривает и рассказывает, что ходил вон туда, влево от наших траншей, а там соседи окапываются – знаете кто? – ребята со 2-й бригады морпехоты, вот кто! Их в Кронштадте формировали. Как узнали, что мы, курсанты с Фрунзе, имеем нужду в куреве, так и отсыпали...

Я вполуха слушаю скороговорку Шапкина, наслаждаюсь впусканьем в организм вкусного дымка. Тут и Павел Лысенков появляется – учуял курсантским нюхом махорочный дух. Паша, как и я, командир отделения. Он, можно сказать, полностью очнулся от спячки, одолевавшей его в училище. Ну, война, понятно, любого соню разбудит.

Между прочим, нас с Пашей Лысенковым не только училище объединяет. Еще и то, что наши отцы в двадцатые годы учились на командирских курсах и в составе сводного полка штурмовали мятежный Кронштадт. В отличие от моего отца, старший Лысенков курсы окончил и служил, по словам Паши, в береговых частях флота.

Паша смолит махорку и авторитетно высказывается о сложившейся вокруг обстановке. Да, слева от нас – бригада морской пехоты, а справа, по ту сторону дороги, окапывается 2-я дивизия народного ополчения. Он, Лысенков, слышал, как наш комбат говорил, что эта дивизия сильно потрепана в районе Поречья и Ивановского; да оно и понятно: ополченцы вовсе не обучены военному делу.

2-я дивизия народного ополчения?.. Меня как током ударило: не в этой ли дивизии Оська Виленский? Да, да, в тот вечер, когда я с ним прощался, Оська, с недоеденным пирожком в руке, торжественно объявил, что он «боец Второй»... Ах ты ж, черт побери...

А Папа Лысенков скрутил себе вторую сигарку из шапкинской махры (Шапкин у нас безотказный) и продолжает развивать стратегические соображения. Немец, дескать, уже не так силен, как в июле, на лужской линии его чуть не месяц держали, да и держали бы еще, если б не ошибки командования, – вот слух прошел, будто генерала, который командовал лужской обороной, арестовали и вообще расстреляли.

Ранним утром, только заалел восток и очнулась от сна, зашелестела на ветру «дубрава», появился двухфюзеляжный самолет-разведчик по прозвищу «рама». Обстрелянная зенитной батареей, «рама», набирая высоту, улетела. Но главное-то она высмотрела – новый рубеж обороны.

И вскоре налетели бомбардировщики – девятка «юнкерсов». Тяжелым грохотом, огнем и дымом наполнилось небо. Одна из бомб рванула рядом с траншеей, в которой сидели, пригнувшись, Вадим Плещеев и парни его отделения. Толчок горячего воздуха чуть не выбросил их из траншеи, земля осыпалась, уши заложило. Все же Вадим услышал оборвавшийся стон. Дзюба лежал на дне траншеи, рука, прижатая к горлу, была в крови. Вадим прокричал Шапкину в ухо, чтобы Макарова, санитаря, позвал, и наклонился над Дзюбой. Осколок, как видно, ударил его в левую ключицу и прошил грудную клетку наискось. Дзюба хрипел, когда Вадим с Макаровым стянули с него фланелевку и тельняшку и бинтами из индивидуальных пакетов стали перевязывать ему грудь. На ее левой стороне, заливаемой кровью, можно было прочесть синие буквы давнишней наколки: «Нет счастья в жизни».

Вадим спросил Макарова, сможет ли дотащить Дзюбу до батальонной медсанчасти, до ее палаток за лесочком было километра полтора. Макаров, здоровенный бровастый малый, сказал: «Дотащу». Тут Дзюба приоткрыл щелки черных глаз и прохрипел: «Мало пожил на свете». – «Поживешь еще», – сказал Вадим. Но понимал он, что Дзюба с таким ранением не жилец...

Пауза, после того как «юнкеры» отбомбились и улетели (один из них, подбитый зенитчиками, тянул за собой черный длинный хвост), была недолгой, начался артобстрел. Из-за перелеска рывкнули в ответ 76-миллиметровые пушки бригады морпехоты, какое-то время длилась артиллерийская дуэль. Потом пошла мотопехота противника, атаку отбили, и опять, ближе к вечеру, налетели бомбовозы; долгий день угасал в адском грохоте разрываемого железа, в дыму и вони тротила, в стогах раненых. Ночь накрыла поле боя черно-багровым пологом. В воронке от бомбового удара похоронили троих курсантов из отделения Вадима. По всей линии обороны закапывали в землю, в братские могилы, погибших бойцов. Штабные подсчитывали потери. Полевые кухни, уцелевшие от огня, срочно варили кашу. Рудаков кричал сорванным голосом в трубку полевого телефона – требовал от боепитания срочного пополнения боезапаса: патронов, дисков для «дегтярей», бутылок с горючей смесью для отражения танковых атак.

Вадим, наевшись пшенной каши, лежал в траншее, закрыв усталые глаза. Ворочал в тяжелой голове трудные мысли. «Если так и дальше пойдет, – думал он, – то дело совсем плохо... Куда подевалась наша авиация, сталинские соколы... только немец в небе... Ну, еще две, еще три атаки отобьем, а дальше?.. Некому будет отбивать, вот что плохо... мы порем тут, а кто загородит немцу дорогу на Котлы... на Ленинград...

А жизнь-то короткой оказалась – ну что поделаешь... такая судьба... вот маму жалко – каким долгим плачем зайдетса мама, когда узнает, что я погиб... только мама и пожалеет меня... Хорошо бы поспать хоть немного, чтоб сил набраться для будущего дня...»

Костер разгорелся славно. Потрескивая, его языки выбрасывают в темное небо огненных мух. Хороший костер! А все сидят вокруг него и поют под баян: «Взвейтесь кострами, синие ночи! Мы пионеры, дети рабочих...» И конечно, концерт самодеятельности. Ему, Вадиму, товарищ Лена, вожатая отряда, сказала, чтоб прочитал какое-нибудь стихотворение. И он, Вадим, декламирует, ладонью прикрывая лицо от жара костра:

Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей...

«Вадя, что за стихи у тебя? – говорит товарищ Лена, обеими руками раздвигая со лба волосы, два русых крыла, и строго глядя светло-кариими глазами. – Что за времири?» А он, Вадим, тоже удивлен: да это не товарищ Лена, это же Маша... ну да, Маша Редкозубова... откуда она взялась тут, в пионерлагере под Сестрорецком?..

Медленно, трудно возвращалось сознание. Повернув голову, наполненную болью, Вадим Плещеев обнаружил себя в тускло освещенной большой комнате с зашторенными окнами. Слева и справа лежали на койках люди, ходили женщины в белых халатах, и было видно, что они говорили меж собой и с теми, кто лежал, – рты разевали, но их голосов Вадим не слышал.

– Я оглох, – сказал он.

Но и собственного голоса не услышал.

Услышала проходившая мимо сестра или, скорее, няня, немолодая, с озабоченным лицом. Она что-то ему сказала, Вадим на всякий случай кивнул. Нянечка принесла белую посудину и сделала знак, чтобы он приподнялся, – Вадим отрицательно поворочал головой. Вот еще... этого еще не доставало...

Теперь он вспомнил. Три дня они под Котлами отбивали атаки мотопехоты, а утром четвертого дня немцы обрушили на линию обороны мощную артподготовку и снова пошли. Основной удар в тот день пришелся как раз на рубеж, где держал оборону батальон курсантов. Сумасшедший день, страшные потери...

Он понимал, что уцелел в боях, но – сильно контужен. Медсестру, наклонившуюся над ним со шприцем для укола, спросил, где он лежит и давно ли, но ответа ее не услышал.

Задремал было, но вдруг тронули его за плечо, потрясли слегка. Он открыл глаза и увидел худенькое веснушчатое лицо Шапкина.

– Ваня, – сказал обрадованно, – ты живой... Ваня, я ничего не слышу... Ты найди бумагу, напиши, где я лежу... как сюда попал... Ваня, ты слышишь?

Шапкин кивнул, улыбка на его лице сменилась озабоченным выражением. Где тут найдешь бумагу и карандаш? Все же он выпросил у дежурной сестры и то и другое. На обороте старого рецепта крупно написал: «Лежишь в Рамбове в госпитале».

Вон как! – удивился Вадим. В Рамбове!

Он знал, конечно, что моряки для краткости так называют Ораниенбаум.

– Значит, батальон вывели из боя? – спросил он.

Шапкин энергично закивал, заговорил, но умолк и развел руками.

«Неужели я совсем оглох?» – Вадим испугался этой мысли.

– «Лежишь», – сказал он, – надо с мягким знаком писать.

– А то я не знаю, – самолюбиво ответил Шапкин. – Ладно, поправляйся. Хоть и не слышишь. Я еще приду.

И верно, спустя два дня он снова пришел. Как раз в тот день глухоту Вадима прошибла артиллерийская стрельба. Он сразу понял: били орудия крупного калибра. Может, форты Кронштадта. Неужели немец уже в пределах дальности их огня? Что же творится на фронте?

Шапкин принес ему курево. Помог Вадиму добраться до гальюна. Вадим шел трудно, его пошатывало, хоть за стены хватайся. Шаркал разношенными больничными тапками.

Закурили в гальюне. Шапкин сыпал скороговоркой:

– Ну да, в тот день, когда тебя контузило, батальон, можно сказать, перестал быть – продержались до вечера, но потери – страшное дело! – в нашей роте почти всех выбило, ротный, Рудаков, тоже погиб. Как стемнело, так батальон – ну, то, что от него осталась, – приказали вывести из боя. Мы с Лысенковым тебя вытащили и повели – ты сам не мог, – шли до перекрестка дорог, а Котлы горели, как костер. Почти что до рассвета плелись, потом на машинах – сюда, в Рамбов, – а вчера сказали, что наша бригада расформирована. Вот так и живем, Плещеев.

От угрожающей обстановки, а может, просто потому что молодой организм, Вадим быстро пошел на поправку. Начальник отделения, женщина-военврач, не хотела его выписывать, очень уж тяжелой была контузия, но Вадим упрямо стоял на своем: «Я здоров, спасибо, прошу немедленно выписать». – «Ты же за стенки держишься, матрос», – сказала начальница. «Нет, не держусь!» Вадим в доказательство прошелся строевым шагом по ее кабинету. Она устало махнула рукой, спросила, знает ли он, где его часть.

В канцелярии Вадим получил справку о выписке, свое удостоверение и бумажник, в котором были в целости мамина фотокарточка и сто тридцать три рубля денег. Получил, конечно, и одежду. Чьей-то доброй рукой были вычищены бушлат и брюки (хотя земляные пятна от окопной жизни не исчезли). Вот вещмешка не было – остался, наверное, вещмешок в траншее, где его засыпало... Винтовку Шапкин прихватил, когда вытаскивал Вадима, а мешок... да черт с ним... Только вот бритву жалко... и осколок от первого снаряда кто-то выбросил из кармана бушлата... а кому он мешал?..

Нянечка, добрая душа, принесла ему чью-то бритву-безопаску. Лезвие было тупое-претупое, насилу отскреб Вадим щеки и подбородок, а усы оставил. Ну рыжие они – ну и что? Уродовать тупым скребком верхнюю губу? Дудки! Сойдет и так.

Выйдя из госпитальных дверей, Вадим постоял немного, прислушиваясь к канонаде. Тяжелые орудия били, как ему показалось, отовсюду. Может, и корабли с рейда вели огонь. Близкие удары артиллерии неприятно отдавались толчками в висках – все же голова у него, Вадима, была еще нехорошая. Он медленно побрел к казарме, адрес которой дал ему Шапкин. Но прежде разыскал почту и там написал открытку матери: «Мама, не волнуйся, я жив-здоров» – ну и все такое. Про контузию умолчал.

В казарме, где разместились, по выражению Шапкина, «живые остатки бригады», провел Вадим несколько неопределенных дней. Никто ничего не знал, но обстановка была нервная, и слухи были такие, что немецкий генерал фон Лееб со своей армией и финский Маннергейм со своей хотят полностью окружить Ленинград и только Кронштадт со своей артиллерией не дает им это сделать.

Но вот остатки бригады курсантов пересчитали, заново расписали по ротам, и появились новые командиры, и объявили боевую готовность. Паша Лысенков сообщил Вадиму, что их передают в 1-ю бригаду морской пехоты, пришедшую на кораблях из Таллина.

Был митинг. Незнакомый рослый батальонный комиссар прокричал, что над Ленинградом нависла грозная опасность, и зачитал письмо-клятву защитников города: «Пока видят глаза, пока руки держат оружие, не бывать фашистской сволочи в городе Ленина! Защитим Ленинград!...»

После митинга – посадка по грузовым машинам. И поехали с ветерком – через Петергоф. Улицы с детства знакомого городка пустынные. Пышная зелень парка будто поникла под снарядами, буравящими небо над ней.

Стрельна. Где-то тут, вспоминает Вадим, живет мамин сотрудник по детской библиотеке, интеллигентный лысый дядечка, как-то раз приезжали к нему с мамой, у него в огороде крыжовник рос замечательный, красная смородина...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.